Ю. Казаков

Ю. Казаков

МАНЬКА

РАССКАЗЫ

АРХАНГЕЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1958

НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ

1

Бежали по лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят завороженно на море... Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки проложены, звонко отдают шаг. Идет человек — далеко слышно, приникают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с ружьем ли в лес идет, или так?..

Чуткие избы в деревне, строены крепко, у каждой век долгий — все помнят, все знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубинного лова, знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось. Помрет старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять все видит деревня и чутко принимает вопли жёнок.

Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как другие, — тихий, ласковый, послушный. Ему восемь лет, на голове белый вихор, лицо смуглое, в темных веснушках, уши большие, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сказки, — сам говорит редко и то вопросами: «А это что? А это почто?» — с отцом только разговорчив да с матерью. Голос у него тонкий, как свирель, а смеется басом, будто немой: гы-гы-гы! Ребята дразнят его, кричат: «Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка,

обидно ему, прячется в поветь, сидит там, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо: темно, никто не заходит, помечтать можно о разном, и пахнет крепко сеном, дегтем и сухими водорослями.

Возле Никишкиного крыльца стоит конь оседланный. Грыз плетень, щепал крупным желтым зубом, надоело ему, глаза прикрыл, голову свесил, осел, ногу заднюю поджал, только вздохнет во сне, ноздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать, чай-сахар везти за двадцать верст по сухой воде мимо гор и мимо леса.

Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо киса, на ногах сапоги, на голове шапка, тонкая шея шарфом замотана. От гордости боится по сторонам глядеть, сопит, лезет в седло, ноги в стремя, сдвигает бровки: — Но-о!

Встрепенулся конь, тронулся, на ходу просыпается, уши назад насторчил, хочет понять, что за седок на нем нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам застукали: тук-ток. Кончились избы, показалась слева школа, рыбоприемный пункт, новый клуб под черепичной крышей, дохнуло от колхозной пекарни хлебным духом, раздул конь ноздри, сладостно заржал... Но вот кончились и конюшни, и фермы молочные, и огороды с овсом прошли — блеснуло справа море! Сильно светит низкое солнце, блестит, сияет под ним море и кажется выпуклым. Длинные мысы впереди плавают в голубой дымке, будто висят над морем. Смотрит Никишка вокруг, головой вертит, распускает в улыбку губы. Глядит на солнце, на море выпуклое, огненное, смеется:

— Солнушко, гы-ы!..

Перелетают вдоль берега кулички, кричат печально и стеклянно. Качаются на высоких ножках у моря, у самой воды бегают: волна отойдет, они по мокрому за ней, волна обратно, и они назад. Накатываются со звоном волны коню под ноги. «Шшшу!» — набегают, «ссссс!» — отходят, «шшшшу!» — снова набегают... А чего только нет на песке у моря! Вон красные мокрые медузы, после отлива оставшиеся, похожие на окровавленную печенку. Есть медузы другие — с четырьмя дымчато-фиолетовыми колечками посередине. Есть и звезды морские с пупырчатыми искривленными лучами, а еще — следы чаек, долгие, запутанные. Лежат грудами

тронутые тлением темные водоросли, тяжело и влажно пахнут. А слева все бревна да бревна: белые, вымытые дождями и волнами, выбеленные солнцем, промороженные и вновь прогретые, высушенные. Слышал Никишка: много лет назад на большой реке Двине прорвало запань. Весь лес, какой был, в море убежал, не могли люди его поймать, а море выкинуло по берегам. Лежит с тех пор тут лес, никто его не берет, никому не нужно, рыбаки разве только да охотники — на костер...

Весело Никишке. А конь все копытами хрупает да фыркает. Ступит иногда смаху на медузу, разбрызгается она по песку, как редкий, драгоценный камень. Пусто впереди, пусто назади, пусто слева, пусто справа. Справа море, слева лес. А в лесу что? В лесу вереск да сосны кривые, маленькие, злые, обиженные свирепыми северными ветрами, да березы такие же. Еще в лесу ягоды есть сладкие — брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики крепкие, грузди, волнушки с молоком, сыроежки с пленочкой. Медведи в лесу ходят, лоси прядают огромными ушами, куропатки хохочут, рябчики перекликаются, посвистывают. Из лесу в море реки выбегают, маленькие и побольше. Через большие реки мосты положены. Нюхает конь бревна, слушает, как внизу вода вызванивает. Ступнет шаг, шею выгнет, назад оглянется... «Но!» — скажет Никишка потихоньку. Конь еще шагнет, а звук на таких мостах глухой, и вода внизу темная журчит, будто крепкий чай. Все реки из болот вытекают, нету чистой воды, везде такая, и море возле впадения рек швыряет на песок желтую пену.

А вон еще что-то темнеет впереди... Подъезжает ближе Никишка — старая шхуна в песок вросла. Мачт нету и киля не видно, засосало. Лежит шхуна на боку, палуба сгнила, борты светятся; внутри водоросли с песком, больше ничего. Подходит волна, затопляет все, хлюпчит внутри, клокает, булькает, отходит — тонко струйки звенят, стекает вода на камни.

Воля, простор, воздух синий, резкий, и никого нет вокруг на много верст. Попадет когда тоня рыбачья пустая, заброшенная. Стены мохом поросли, окошки маленькие, голову только просунуть, крыша осела, прохудилась, да и сама тоня на один бок села, другой задрала, смотрит окошками в пустое небо. Вешала повалены, все рушится, только крест старый, поморский, черный,

восьмиугольный, страшно торчит, будто страж, поставленный навечно, и нет ему смены. Жутко глядеть на такое, отвернись — и мимо, мимо!..

Тропа незаметная начинается, конь на нее сам свернул, Никишка задумался, поглядывает вокруг, хочет тайну такую узнать, чтобы все, что видит, разом открылось бы ему. Да не узнать, наверно, такой тайны, смотри только с тоской, впитывай глазами, слушай да нюхай...

И глядит Никишка очарованный, слушает, думает, а тропа все удаляется от моря, глохнет, лесом идет, и становится тихо, золотисто. Октябрь на дворе, под ногами коня — желтые, красные, оранжевые языки. Мохом пахнет, грибами, янтарные рыжики везде, румяные волнушки, — весь лес горит, пламенеет, елочки только зеленые да вереск стелется приплюснутыми островками.

Красен лес, а из-под земли камни обомшелые, серые и бурые выпирают, да стоят особняком серые изуродованные скрученные елки, и странные березы стоят, похожие на яблони. Попался бы кто-нибудь навстречу! Но никто не попадается, один Никишка в мертвом лесу. Скоро ли жилье? Не у кого спросить, молчат сосны и елки, загадочно смотрят на Никишку камни из-под земли. Все тут камень да сырость... Только тропа глубоко в земле выбита, старая, глухая.

И вспоминает Никишка — рассказывала бабка — давно это было, еще до революции, — шли по мертвым лесам нищие странники, шли беглые, больные, несчастные, обиженные, всякий народ шел. И шли они все к одному месту, в одно место тропы глухие прокладывали, в пресветлую обитель — Соловецкий монастырь. И обратно шли, все такие же нищие, печальные. А где этот монастырь, Никишка не знает, там где-то, где солнышко закатывается, а где — поди-ко, узнай!

И вдруг среди этого безмолвия, звуков неживых — песня! И слышно, топором кто-то постукивает, слышно, дымком попахивает. Конь — уши торчком, заржал звонко, рысью, рысью вперед — жилье чует. Выезжает Никишка из лесу, перед ним изба — тоня отцовская. Все новое, все крепко и ладно, из трубы дымок курится, над крышей шест торчит с антенной-ежиком, на вешалах сети сушатся, рыбой пахнут, на катках карбас лежит, черным боком маслится. А на пороге отец сидит, топором постукивает, весло кормовое ладит да песню поет.

2

Увидал Никишку, встал отец — огромный, бородатый, в высоких сапогах, в брезентовой робе, с ножом на поясе. Руки у него красные, лицо бурое, борода светлая, глаза резкие под густыми бровями.

— Сынок приехал! Ах ты, молодец, — ласкает отец Никишку, волосенки льняные ручищей своей гладит. — А я слышу топ какой-то, а кто такое и не толкую. А это сынок! Не боялся ехать-то?

— Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то умный! На, вот тебе, мамка наклала, — снимает Никишка кису. — А почто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось, ночью переваливаются, кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!

— Камни-то? — задумывается отец. — Камни, они, надо думать, тоже живые. А как же? Все живое!

— А ты понимаешь, об чем березы говорят?

— Да они по-своему, по-березьи, небось, говорят. Надо язык ихний знать. А то где понять! Пойду-ко, лошадь расседлаю...

Пошел отец, коня поймал, расседлал, веревку вынес, привязал коня к березе, чтобы в лес не ушел. А Никишка в избу заходит: пахнет рыбой, в печке угли тлеют, на столе хлеб, миски да ложки. В углу приемник стоит, стены плакатами оклеены, на полке журналы ворохом лежат, чисто всюду, подметено, на веревке рукавицы, портянки да штаны сохнут. Вышел Никишка, обошел избу вокруг, в сарай заглянул. Хотел было в сарай забраться, посидеть в укромности, подумать о сегодняшнем, вдруг... что-то живое в сарае показалось, темно-рыжее, будто тусклый пламень. Глазами светит, в глазах блеск красноватый вспыхивает, как предзакатное солнце. Собака!

Сел Никишка на корточки, оглянулся на отца — не видит ли? — заговорил по-собачьи: «Адя... Уууурр! Гугуррр... Гам!» Собака молчит, нюхает, голову набок склонила, одно ухо вверх, другое повисло, молотит хвостом — нравится ей Никишка. А Никишка, наговорившись, вышел из сарая, посмотрел на отца, какой он большой, красный, освещенный солнцем, будто царь лесной.

Отходит Никишка немного, ложится на песок,

подбегает собака, ложится тоже рядом, жарко дышит. Закрывает глаза Никишка, качает его, все кажется на коне едет и чайки взлетают над морем, а мимо — горы да леса. И песню кто-то поет, голос то распухнет, то утончится, баюкает, солнышко светит, а море все: «шшшшу!» — нашептывает, «сссс!» — отходит. Крепко пахнут тлеющие водоросли, дурманят голову, и кулики стеклянно кричат: «пи-пии, пи-пии!» Лежит Никишка, не спит, не дремлет... Песок теплый, собака теплая, смотрит на Никишку огненными глазами, говорит: «Пойдем, Никишка, в лес!» — «Не, я в море с отцом пойду, семгу стеречь!» — отвечает Никишка. А собака свое: «Пойдем в лес, я тебе тайну открою! Об чем березы шепчутся послушаем, что камни думают узнаем!» Любопытно Никишке, сомневается он уже, то ли в море идти, то ли в лес — за собакой, но тут отец как раз подошел с веслом в руке.

— Вставай, сынок, поедем за семгой!

Очнулся, встал Никишка, идет с отцом на берег, а море радуется — вспыхнет, заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Налег отец грудью на карбас, столкнул в море, Никишку посадил в корму, сам сапогами по воде бухает. Но вот и сам в карбас прыгнул, на веслах уместился, Никишке кормовое дал, отвалили от берега, развернулись, и пошло качать-покачивать вверх-вниз, вверх-вниз. Осторожно подплывает к ловушке, привязывает карбас к жерди, встает отец, чутко глядит вниз, в тайник — нет ничего!

— Пусто... — шепчет отец и садится спокойный. Оглядывается Никишка, тихо кругом, ни звука, ровно дует легкий ветерок, светит солнце, слепит глаза море, а берег — далеко, темный, в обе стороны уходит. И кажется Никишке, был он здесь, сидел давно годами, ждал семгу, думал о чем-то. Или снилось ему это?

— Прилив начался, — говорит отец. — Вода пошла, прибывает.

— Донушко видать, — откликается Никишка.

— А как же! Семга, она донушко светлое любит. Ей камни там али водоросли не надобны. Она любит по дну идти в полводы. Полная или сухая вода — это ей неподходяще, а идет, говорю, в полводы. Вишь полотно-то? Сеть то есть. Это вот стенки на кольях с оттягами, а внизу... глянь-ко, что внизу!

Свешивается Никишка за борт, огородил руками глаза свои разноцветные, смотрит в воду, в глубину, видит блики зеленоватые на дне, тонкие ячеи сетки видит.

— Вишь? Вишь, внизу тоже сеть — это доно. Стенки да доно, это вот и тайник, а там ворота, эвон где жерди две рядом торчат, ворота там... Она идет, в ворота зайдет — и в тайник, а в тайнике мы ее бьем, если крупна. Доно подымаем и бьем.

— А вон, глянь, дым! Это чего? Пароход?

— Где? А! — то пароход... Ты послушай, чего я тебе скажу. У нас тут на севере рек много, не таких, как наши, — это что! — а огромадные реки! И вот по лесам везде лес валют. Валют это, братец ты мой, лес, волокут его тракторами к рекам, связывают в плоты али так пущают, молем, значит, и бежит он к морю. А в Архангельске или там, в Онеге, где лесозаводы, там его запирают, волокут обратно на берег и пилют на доски. Ну, а потом вот энти самые пароходы прибывают, значит, к нам за лесом со всего света. Всякие пароходы — и лесовозы, и лихтера — и люди на них всякие: есть турки, темные, копченые, норвежины, голландцы там, али англичане. Грузятся они у нас досками, стояками, всяким пиленым товаром и — домой! Эвон как дымит, нагрузился!

— А ты был матросом?

— Всем я был: матросом, лесорубом, рыбаком, зверобоем...

— Ой, глянь-ко, чего это?

— Где?

— Эвон кажется...

— А! То тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть.

— А где он живет?

— В море и живет. Днем рыбку промышляет, а ночью к берегу плывет, на камнях спит, в глухих местах, на коргах.

— А почто его бьют?

— Шкура у него хороша и жиру много. Из-за шкуры да жиру и бьют. Его легко бить, глупый он, подкрадаются и шпарим из винтовок. А ходим за ним другой раз на карбасах, а то на ледоколе. Теперь-то все больше на ледоколе — прямо до Баренца.

— А если буря, страшно на карбасе?

— Ой, страшно! Вот вырастешь, возьму я тебя на

зверобойку, узнаешь тогда наше северное морюшко! Эвон там, где блестки, — показывает отец рукой. — Где солнышко стоит, там далече островок есть махонький, Жижгин называется. Тюлени там стадятся. На Жижгине этом поморы всегда промышляют. Стоит там избушка зверобойная, на корге, прибегают туда поморы на карбасах из колхозов, чуть не со всего берега, живут, хлеб жуют, поветрия ждут, погоды значит. В хорошую погоду выберут себе льдину здоровую, бегут в море, тюлешков стреляют, ночью на льдине спят. Быват, падет темна погода, так уж понесет, так понесет — заревишь на голос, с жизнею простишься, кто посчастливей, того и отпустит скоро, ветер на переменку пойдет, утихнет, а то кого и в горло вынесет, мимо Канина Носа пронесет да в океан. А там только если с самолета найдут, а так...

— Семга! — шепчет вдруг Никишка.

— Но! — и встал отец на носу на коленки, наклонился над тайником. — А и верно! Ну, я буду доно подымать, а ты карбас сдерживай!

Нагибается отец, руки в воду спускает, Никишка за жердь держится. А в глубине что-то беззвучно мечется, — огромное, туманно-серебристое, живое, — вздрагивают жерди, как струны дрожат оттяги. Шуршит капроновая сеть, втягивает ее отец в карбас, Никишка шею вытянул, смотрит вниз. Вот все меньше места семге остается, вот она раза два уже по верху хлестнула, держит отец одной рукой подобранное дно, другой — колотушку шарит. Нашел, вымахнул руку, ждет, когда ударить можно, а семга бьется все яростней, все сильнее, гулко стукает по дну карбаса, окатывает рыбаков водой. Вот уже вся она на виду, как в чаше пенной, могла бы кричать, закричала бы от ужаса. Бьет отец с размаха ее по голове, хватает за жабры, с усилием втягивает в карбас, шлепает вниз, под ноги Никишке. Смотрит Никишка на нее остановившимися глазами, а она еще жива, еще жабры вздрагивают, чешуя сжимается — серебристая, с темной спиной, с загнутой вверх нижней челюстью, с дымчато-золотистым глазом — прекрасная, дивная рыба!

Опускает отец дно, рукавом лицо вытирает и руки, пахнущие рыбой, вытирает о штаны, закуривает, весело смотрит на семгу, на Никишку: «Вот как мы ее!»

И опять качается вверх-вниз привязанный к жерди карбас. Молчит отец, сложив на коленях могучие крас-

ные кисти рук, смотрит безмятежно вдаль, отдыхает. Молчит все, молчит море, молчит берег, не доносится оттуда ни звука. Солнце, низкое уже, скрылось в облаках, потемнело все вокруг, запечалилось. И никого нигде нет! Пусто кругом, безлюдно, летают редкие чайки, на берегу в лесу притаились глухари, да качаются на карбасе два рыбака и с ними заснувшая семга.

3

Гудит печка, потрескивает, тепло в избе, за окошками сумерки. Таинственно светится шкала радиоприемника, доносит шумы городов норвежская станция. Зажег отец лампу, между ног ведро поставил с водой, шкерает на уху треску пятнистую, рявшу горбатую, тонкую изящную навагу. А Никишка дремлет уже, наговорился за день, нагляделся, наслушался, накачался, устал, дремлется ему, думается бог знает о чем!

Круто меняется погода. Дует верховой обедник, шумит море, все зеленеет и зеленеет на западе, открывается просинь, стеклянеет воздух, и настает вечер необыкновенной чистоты со звездами и смутным небесным светом.

Лежит рыжий пес у печки, спит, вздрагивает во сне. Никишка встрепенется, слушает в пол-уха — отец чего-то говорит мирное, давно знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о мотоботах, о деревне, о ветрах — полуночнике, шелоннике, обеднике... Склонился низко над ведром, волосы, как у Никишки, белесые, на глаза свесились, борода распушилась, сам неподвижен, руки только двигаются, нож сверкает, рыба в ведро с плеском падает. Говорит, говорит отец глухим голосом. Никишка глаза закроет, видит землю родную с морем, лесами, озерами, по рекам лес плывет, по морю — пароходы; солнце видит, птиц молчаливых, зверей странных; видит он, что псу рыжему снится — лес ему снится, звери ужасные со всех сторон кидаются, бежит пес, лает от страха, одно ему спасение — Никишка! Слышит, камни теперь шептаться начинают, море шумит, деревья в лесу шевелятся, крикнет кто-то, вздохнет... Видит, вот отец в шторм на льдине качается, плачет, еще видит — семга громадная по дну рыщет, а за ней другие — тайник отцов ищут.

Дрова в печке гудят, потрескивают. Отец из избы вы-

ходит воду вылить из ведра, слышно, дрова собирает, потом в избу входит, грохает дрова у печки. Вскакивает рыжий пес, вздрагивает Никишка, проходят чары.

— Спишь, сынок? — наклоняется к нему отец. — На воле-то не видал, что делается?

Выходит Никишка — темно, холодно, дует сырой ветер с моря. Так темно, что леса не видно, а наверху, между звезд, светится продолговатое жемчужное пятнышко, будто в страшной высоте плывет облачко, озаренное последним светом солнца. Вздрагивает облачко, вытягивается стремительно в длину, пухнет в середине, выгибается между западом и востоком трепещущим мостом. Смотрит Никишка, закинув голову. Хлопает дверь, подбегает к Никишке пес, за псом отец выходит, тоже голову поднимает.

По облаку начинают ходить неясные тени, цвета меняются, все синеют, густеют — от молочного к синему. Кажется Никишке: напрягается облако, силится загореться рубиновым огнем, заполыхать вместо ушедшего солнца. Все сильнее мерцают и вспухают краски, все больше льется сверху света, но напрасны усилия, все гаснет, и опять большие смутные тени печально передвигаются по световому мосту.

Смотрит Никишка на северное сияние, смотрит отец и молчит, пес смотрит и тоже молчит. Молчит и лошадь, заснула возле березы, пала ей на шерсть крупная роса, все молчит, одно море слабо дымится от небесного огня и шумит, шумит... Гаснет свет, ощупью идет Никишка в теплую избу, забирается с ногами на кровать, пес у печки ложится, ставит отец уху на огонь и чайник ставит.

Скоро Никишка поест жирной ухи, попьет горячего крепкого чаю, ляжет спать, и приснятся ему необыкновенные сны. Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес тихонько подойдет, камни и горы, конь явится с прекрасной гривой, пес рыжий, чайки прилетят с красными лапками, кулики сбегутся на тонких ножках, тюлени приползут, семга из моря выйдет — все к Никишке сойдутся, смотреть на него станут и, бессловесные, слабые, робкие, с трепетом будут ждать заветного слова Никишки, чтобы разом открыть ему все тайны звериной, немой души.

ДЫМ

1

Ночевали на чердаке пустой заброшенной сторожки, на слежавшихся, потерявших запах листьях. Петр Николаевич проснулся, когда сквозь дырявую сухую крышу начал пробиваться слабый свет. Сын его, Алексей, посапывал, неловко подворотив руки, завернув голову телогрейкой, раскидав голенастые ноги с большими ступнями. Из-под бока у него торчал приклад ружья.

Петр Николаевич обулся, напряженно, боясь сорваться, слез по приставной лестнице, в которой не хватало многих перекладин. Слез, постоял, смотря на белеющий восток, неподвижные деревья, на мокрые отяжелевшие кусты, потом медленно обошел сторожку.

Раньше здесь был загон для скота, ночевали пастухи, пахло дымом, молоком и навозом. Земля была истоптана, скользка от коровьих лепех... Теперь уж лет пять все было заброшено, поскотина местами повалилась, подле сторожки буйно росла крапива с бледно-зелеными большими листьями. Во всем проглядывали заброшенность, запустение, глушь была на месте человеческого жилья.

Дверь в сторожку была сорвана, и Петр Николаевич вошел внутрь. Стекол в окнах не было, только в одном торчал запотевший осколок, ставший от старости, дождя и солнца сизым. По углам лежали кучи листьев, из печки вынута дверца, сняты чугунные плитки, теперь она зияла черной холодной пустотой. Почему ушли отсюда люди? Где пасут теперь свой скот?

Петр Николаевич присел на листья в углу, медленно закурил, долго следил темными невеселыми глазами, как дым вытягивается в окно, запутывается в толстой пыльной паутине. Пахло в сторожке сухой глиной от печки, старым деревом, из окон тянуло свежестью травы, чистым и печальным воздухом, и Петр Николаевич задумался с погасшей папиросой о том времени, когда он, совсем молодой, охотился в этих местах.

Было тогда ему двадцать лет. Ошалевший, как молодой жеребенок, почти больной от счастья, целый месяц бродил он один или с отцом по этим певучим просторам, спал в шалаше или в стогах крепким молодым сном, просыпался на рассвете, и жизнь лежала перед ним — нетронутая, бесконечная, радостная. Потом бродил по озерам, лугам, по сумрачным борам, был несказанно счастлив своей молодостью, силой, готов был плыть за подстреленным чирком по ледяной воде, готов был выхаживать десятки километров в надежде подстрелить юркого бекаса. И еще — и это, пожалуй, самое главное — он был влюблен тогда, беспрестанно со сладкой тоской думал о н е й, и казалось ему по молодости, что еще не то будет в жизни, что пока еще не настоящее счастье, а гораздо большее, невыразимое счастье будет впереди.

Сколько миновалось, сколько прожитого навсегда ушло из памяти, но этот тихий светлый край и то время, когда он здесь скитался, так и запомнились, как лучшее в жизни, как самое чистое. И он помнил все: все дни и все места, где у него была счастливая охота, помнил приметные деревья, потаенные родники, помнил даже, о чем он думал в то время.

Теперь он снова приехал сюда, уже не один, а с сыном, и когда ехал, было томительно-радостно, что он опять увидит все, а теперь стало тяжело — так все неузнаваемо изменилось, так все постарело, поблекло... Все не то, все не то, только рассвет и роса на траве, запахи те же, вечные, навсегда те же! И странно до восторга было думать, что еще тысячи людей, может быть и не родившихся даже, будут так же просыпаться когда-нибудь и глядеть на рассвет, туманы на лугах, будут дышать крепкими грустными запахами земли.

2

Сын скоро проснулся, завозился на чердаке. Потом заскрипела лестница, послышался прыжок на землю.

— Отец! — негромко позвал Алексей.

Петр Николаевич вздохнул, провел рукой по лицу, вышел. Алексей, расставив длинные в лыжных брюках ноги, смотрел вверх, лицо его было испуганно и восторженно.

— Тсс! — он схватил отца за руку. — Слышишь?

— Нет... Что такое? — спросил Петр Николаевич, напрягая слух.

— Ну как ты не слышишь! — прерывающимся шепотом сказал Алексей и посмотрел на отца круглыми счастливыми глазами. — Осы! Их там три гнезда, вчера в темноте не видать было... Я случайно зацепил, как загудели! Слышишь? — Алексей с восторженным ужасом опять посмотрел вверх.

— Да, да гудят, — подтвердил Петр Николаевич, улыбаясь. Но он не слышал никакого гудения, и на сердце у него стало нехорошо. «Вот уж и слышать хуже стал...» — подумал он и, чтобы совсем не расстроиться, заторопился.

— Пойдем, пойдем! — пробормотал он. — Поздно уже... Рюкзаки, ружья где?

— Сейчас! — сказал сын и беззвучно полез на чердак. Так же неслышно, с серьезным лицом, он передал отцу один и второй рюкзак, ружья, тяжелые патронташи, натянул новые сапоги, спустился и тут только перевел дух.

— Пошли! — громко и бодро сказал Петр Николаевич и первый зашагал по траве за поскотину, туда, где — он знал — должна быть тропинка.

Тропинку долго не могли найти, промокли от росы, пошли наугад к темному высокому бору. Ноги вязли в траве, поляны были белыми от ромашек. «Сколько добра пропадает, не косят, какая глушь!» — горько думал Петр Николаевич. Алексей шел сзади, спотыкался на кочках, часто и громко зевал, в рюкзаке у него брякало, этот равномерный слабый звук все что-то напоминал Петру Николаевичу и никак не мог напомнить.

Когда вошли в бор, сразу стала видна старая тропа. В бору было сумрачно, глухо; только оттуда, где за плотным рядом сосен лежала старица, робко пробивал-

ся голубой неверный свет. Немного погодя, в таволговых кустах запикала птица; песня ее была в два колена, очень проста: пи-пи, пи-пи...

Алексей снова зевнул, споткнулся.

— Далеко еще? — сонно спросил он.

И будто ждал этого вопроса, в той стороне, где было совсем еще темно, взорвался глухарь и с частым тугим лопотом потянул между стволов. Идущие вздрогнули, остановились, у Петра Николаевича зашлось сердце: значит и сейчас тут есть глухари!

— Фу, как напугал! — засмеялся он. — Идем, потом поохотимся, хватит еще!

Но Алексей, не слушая, свернул с тропы и хищно пошел по беззвучному мху, по хвое и бруснике, держа ружье в руках. Петр Николаевич напряженно смотрел сыну вслед, каждую секунду ожидая выстрела, потом поправил ружье и тихо пошел дальше по тропе.

Он вышел на опушку, сел на поваленное дерево и стал ждать. Впереди было небольшое поле в тумане, за ним опять лес, потом снова должно быть поле, потом маленький еловый колок, затем кочковатая сырая луговина с жесткой осокой и, наконец, озеро — место всех давних охот.

Скоро показался Алексей и пошел к отцу, надевая ружье и смахивая что-то с лица.

— Ну, что? Ничего не попалось? — спросил Петр Николаевич.

— Ничего! — точно радуясь, ответил Алексей. — Зато глухо как! Ягод сколько, грибов... как хорошо! Неужели мы тут целый месяц проживем! Здорово!

— И прекрасно проживем! — Петр Николаевич любовно посмотрел на сына. — Тебе понравилось? Я боялся, не понравится... А ты у меня молодец!

Они пошли заросшей тропинкой через луг к новому лесу, но теперь впереди шел Алексей, а Петр Николаевич смотрел на него и думал, какой у него большой сын и как хорошо, что он именно с сыном приехал сюда.

3

Уже солнце поднялось высоко и роса держалась только в тени под кустами, когда охотники подошли к озеру. Они не торопились особенно, наслаждались

глухой тишиной и потаенностью, подолгу сидели на опушках, смотрели, как тихо встает солнце, слушали стеклянный скрип журавлей, стуки дятла, пронзительный крик кобчика...

Подойдя к озеру, Петр Николаевич снял кепку, пригладил поредевшие волосы, стал жадно оглядываться. Как все изменилось!

Озеро стало меньше и постарело как будто... Один узкий и мелкий конец его совсем зарос осокой и камышом; сильнее разрослись и наклонились к воде деревья, больше было на темной воде листьев кувшинок.

«Ну, здравствуйте! — думал, волнуясь, Петр Николаевич. — Здравствуйте, кусты и деревья, и озеро! Здравствуйте, цветы и осока! Вот я опять с вами, пришел к вам... Вы долго меня ждали, снились мне, и я пришел. Помните ли вы меня?..»

Неуверенно, с трудом отыскал Петр Николаевич ту полянку, где у них с отцом горел когда-то, почти не переставая, костер, где они сушились после дождей, варили себе похлебку, кипятили чай и набивали патроны, и тихонько пели песни на два голоса. И поляна стала маленькой, чужой, и нельзя было понять: то ли она заросла, то ли, как почти все, давно ушедшее, представлялась в памяти более значительной, чем на самом деле. Петр Николаевич, моргая, чувствуя выступающие на глазах слезы, махнул сыну рукой:

— Пройди вдоль озера... Посмотри там... Иди, иди!

Алексей внимательно взглянул на отца, что-то понял, покраснел и ушел, торопливо шурша сапогами, горбатя худую спину. Петр Николаевич снял рюкзак, опустился на колени, стал перебирать траву руками. «Должно же что-нибудь остаться! — с наивной верой думал он. — Тут было так много золы, углей, головешек... Даже нижняя лапа сосны была подпалена!» Он мельком глянул вверх: серебрились в солнечном луче иглы, опутанные тонкой радужной паутинкой, неподвижно млели крепкие зелено-бурые шишки, толклись комары... Он разгреб траву, раздвинул ромашки на длинных крепких стеблях, но ничего не было, только сырая земля, старые прелые листья, маленькие липкие маслята; ползали муравьи, кровавыми каплями дрожала земляника. «Конечно... круговорот вещей, — растерянно и огорченно думал Петр Николаевич. — Все проходит, все изменяется... Да полно,

тут ли мы были тогда?» Он встал, оглянулся: здесь где-то под елью был у них шалаш. Где его искать? Это был такой прекрасный, такой прохладный днем и теплый ночью шалаш! Так хорошо строили они его с отцом... Где же эта ель? Не приснилось ли ему все на самом деле?

Шумел вершинами плотный лес, в просветах виднелось бледно-голубое небо, вспыхивали светлой изнанкой листья осин, солнечный теплый свет дрожал на толстых сумрачных стволах, а внизу было царство валежника, мертвых, на вид совсем свежих берез, папоротника...

Петр Николаевич стал лазить под елями, царапал лицо и руки, оглядывался на поляну, стараясь не отходить далеко. Ружье мешало, и он снял его, прислонил к дереву. Попадалось много грибов, костяники, в лицо дышало влажным грибным духом, пряным запахом опавшей хвои. Петр Николаевич машинально срывал костянику и сосал, чувствуя кисловатый холодок на языке и в носу. Наконец он наткнулся на старую толстую ель, оглянулся на поляну, опять посмотрел на ель, и ему показалось, что здесь. Тут, на стволе, должна быть зарубка, — на ней держалась с одной стороны хребтина шалаша, — он это помнил. Но по мощному, в наплывах смолы, стволу ничего нельзя было узнать. Тогда Петр Николаевич снова встал на колени, принялся задумчиво перебирать старый хлам, годами скопившийся под елью. И он нашел то, что искал: гнилые, почерневшие палки, на концах которых был виден срез от удара топором, еще и еще...

Да! Вот все, что осталось от прекрасного крепкого шалаша — одни гнилые палки.

Петр Николаевич встал, отряхнул колени, выдрался из густоты, посмотрел сквозь листья на верхушку ели. Какая же она старая! Сколько лишаев! Вон и вершина совсем засохла... Скоро то, что когда-то было маленькой пушистой зеленой елочкой, совсем высохнет, умрет. Проходит жизнь!

Отыскав ружье, он вышел на поляну и остановился, бездумно засмотревшись на ромашки. Потом вспомнил, как перекликался с отцом, переломил ружье, вынул патроны, приставил стволы к губам, и над лесом полетел зовущий печальный звук и замер где-то за озером.

— Ого-го-о! — откликнулся совсем рядом мальчише-

ский басок. Послышался шорох. Алексей подошел с виноватым лицом, и Петр Николаевич понял, что он никуда не уходил, сидел поблизости, ждал, пока отец найдет, что ему нужно.

— Как это ты? — изумленно спросил Алексей.

Петр Николаевич показал, Алексей тотчас радостно переломил свое ружье, затрубил что есть мочи, и опять волнующий, будто из двадцатилетней дали, полетел над лесом и озером зов.

— Ну вот, тут и будем жить, — негромко сказал Петр Николаевич.

— Ты тут жил с дедом тогда... Да? — краснея спросил Алексей.

— Вынимай топор, надо шалаш делать, — глухо отозвался отец, роясь в своем рюкзаке и не глядя на сына.

4

Долго рубили жерди, устраивали, поправляли, заколачивали, покрывали шалаш двойным рядом еловых лап, старались, чтобы шалаш стоял под елью точно так же, как стоял раньше. Петр Николаевич все вспоминал, как делал его отец, точно так же делал сам, и точно так, как когда-то запоминал он, теперь смотрел во все глаза, помогал и запоминал его сын.

Часам к двум, когда шалаш был совсем готов, когда все из рюкзаков было разложено и поверх еловой подстилки постелили еще куртки и телогрейки и разулись, чтобы отдохнуть, стал натягивать дождь. Быстро надвигались темные облака, один за другим закрывая голубые просветы вверху. Лес смолк, потемнел, в шалаше от этого стало еще лучше. Ждали сильного дождя, но начало робко капать, трогая цветы и листья, и пошел обложной, реденький, теплый дождóк.

Охотники сидели в шалаше и были счастливы от усталости, от того, что успели устроиться и могут пережидать непогоду, от тишины и от едва слышного шурстения дождя по листьям. Все скоро опять отсырело, но пахло уже не тем чистым и грустным запахом росы, как давеча утром, а грибами, мокрой землей, горькой осиновой корой, березовым листом — и было немного душно.

Алексей скоро откинулся лицом в угол шалаша к толстому стволу и уснул. Петр Николаевич подвинулся

ближе к низкому входу, стал смотреть на повисшие мокрые пряди берез, на поникшие ромашки на поляне. Он сидел, как часто сиживал раньше, обхватив колени руками, тихонько пел. Пел он все печальные старые русские песни, в которых говорится о разлуке, о смерти, о несбывшейся любви, о раздольных полях, о тоске и сиротливых ночах... Пел и вспоминал многое из своей жизни, мечтал о чем-то сладком, затаенном, смотрел на хмурое небо и присмиревший тихий лес. Потом замолчал, стал думать о сыне и никак не мог понять, чего же больше в его мыслях: радости или ревности...

Потом он задремал, побежденный усталостью, склонясь головой на колени, но и в дремоте его не покидало ощущение тоски, сожаления по чему-то навсегда утраченному. Свешенная рука его затекла, набухла и была похожа на мертвую. А дождь все крапал, все шелестел в листьях осин и в траве, сырело и сырело кругом, и только под елью, где стоял шалаш, было сухо.

5

Проснулись они к вечеру, когда дождь кончился, взяли ружья и пошли мокрым лесом. С ветвей капало; капли были крупные, далеко слышалось: тук! тук! тук! Солнце заходило, слабо и желто просвечивая сквозь лес. В лесу стоял золотистый прозрачный пар, отпевали последние минуты птицы. Такой же пар висел над озером, жемчужно сверкала осока и кусты, чуть заметно колыхалась вода: где-то плавали утки.

Долго и осторожно переходили с места на место, пока вдруг не увидели уток, плавающих близко от берега, но далеко от того места, где они вышли к воде. Маскируясь, рассмотрели уток в бинокль, потом попятились, неслышно и быстро перебежали верхом, и в замеченном месте стали пробираться к берегу. Сквозь просветы ветвей показалась темная вода и на ней освещенные желтым солнцем утки.

— Обожди... Дай я, дай я... — умоляюще зашептал Алексей.

Петр Николаевич подвинулся и сейчас же вспомнил, что и он так же просил отца, и отец часто уступал ему. Алексей положил стволы ружья на сучок, прицелился, лопатки его дернулись. «Тааах-тииу-тууухxx!» — ши-

роко рассыпалось эхо, дым выскочил клубком на воду. Охотники, уже не боясь, треща сучьями, продрались к берегу и еще успели заметить трех уток, стремительно уходящих над озером. А две утки остались на воде. Одна лежала неподвижно, желтея брюшком, другая завалилась на бок, старалась нырнуть, но только опускала голову в воду, слабо подрагивала крылом. Дым от ружья, смешиваясь с туманом, расходился пеленой по воде.

— Подожди, тесину срубим! — возбужденно сказал Петр Николаевич, снимая ружье и доставая топор.

Но Алексей не слушал. Морщась, не спуская глаз с шевелящейся еще утки, переживая свой первый выстрел, он стянул сапоги, помотал ногами, сбрасывая портянки, стал раздеваться. Тогда Петр Николаевич покорно положил топор, присел на сгнившее бревно и закурил.

Сын разделся, вздрагивая длинным худым телом, быстро покрывшимся гусиной кожей, полез в воду. Он ступал осторожно, нащупывал дно, отводил руками стебли кувшинок, ухал, но потом не выдержал, бросился и поплыл. Доплыв до уток, он повернул сияющее лицо к берегу.

— Отец! — крикнул он, задыхаясь от холодной воды. — Лезь купаться! Как здорово дымом пахнет! Сероводородным и табачным. Ого-го-го!.. — И он с восторгом нырнул, замолотил ногами, потом вынырнул, захлебнувшись и отфыркиваясь, и поплыл назад, по очереди перебрасывая уток.

А Петр Николаевич вдруг похолодел, вспомнив, как в такой же вечер подстрелил утку на другом озере, километрах в двух от этого, и поплыл за ней, а отец сидел на берегу, отдыхал и курил, и дым от выстрела и табака стлался по воде, и так прекрасно, волнующе пахло, что он крикнул об этом отцу и стал тоже барахтаться от восторга и шуметь.

Да, все то же... И жизнь по-прежнему прекрасна и будет такой всегда, только он уже не тот, от него ушло что-то, и та жизнь, которая тогда у него была, теперь не придет, первой любви больше не будет, то необыкновенное, постоянное состояние восторга и счастья не вернется, все ушло... Все ушло, и он сидит теперь на берегу и курит, вместо того, чтобы самому броситься в воду. Он дал выстрелить сыну, вместо того, чтобы

выстрелить самому... Где же, куда девалась его страсть, его сила и крепость? Что осталось ему?

Он больше не мог сидеть и курить, бросил папиросу и пошел, не разбирая дороги, по мокрой траве в глубь темнеющего леса.

А сын его долго гулко хлопал ладонями по воде, кричал на разные голоса, вызывая эхо. Потом дрожащий, посиневший вылез, путаясь ногами в штанах, оделся, погладил теплых уток с мокрыми лапами, прижмуренными бирюзовыми глазами и каплями крови на клювах, увидел недокуренную папиросу, оглянулся и вороватo закурил, неумело затягиваясь, выкатывая глаза, кашляя и улыбаясь от не омраченного еще ничем счастья.

СТРАННИК

1

Он шел по обочине шоссе, глядя вдаль, туда, где над грядой пологих холмов стояли комковатые летние облака. Навстречу ему туго бил ветер, раздувал мягкую выгоревшую на солнце бородку. На глаза часто набегали слезы, он вытирал их грязным, загрубевшим пальцем, опять, не моргая, смотрел вперед, в слепящее марево. Его обгоняли автомашины, бешено жужжа шинами по асфальту, но он не просил подвезти, упрямо чернел на сером, блестящем посередине от масла шоссе.

Был он молод, высок, немного сутуловат, шагал широко и твердо. Резиновые сапоги, зимняя драная шапка, котомка за плечами, теплое вытертое пальто — все это сидело на нем ловко, не тяготило и не мешало.

Думал ли он о чем-нибудь, шагая мимо деревень, лесов, мимо рек, зеленых полей и бурых паров? Синие его глаза в красных веках не смотрели ни на что внимательно, ни на чем подолгу не останавливались, блуждали по далям, по белым облакам, заволакивались слезами, потом опять бездумно глядели. Звонко стукала по асфальту ореховая, позелененная травой палка. Подкрадывались к шоссе кусты, задумчиво подходили большие старые березы и вновь неслышно уходили, не в силах скрыть великого простора полей.

Солнце перевалило за полдень, стало жарче и суше, ветер доносил запах теплого сена, разогретого асфальта, а странник все так же ходко шагал, постукивая палкой,

и неизвестно было, куда он идет и сколько еще будет идти.

Наконец он заметил далеко справа белую черточку — колокольню. А заметив, свернул на пыльный проселок и пошел медленней. Дойдя до чистой глубокой речки, он сел в тени кустов, снял котомку, вынул яйца, хлеб и стал есть. Жевал он медленно, тщательно оглядывая кусок, прежде чем положить в рот. Наевшись, перекрестился, смахнул с бороды и усов крошки, тяжело поднялся, пошел к речке напиться. Напившись и вымыв лицо, он вернулся, забрался еще глубже в кусты, положил котомку под голову, поднял воротник, подвинул на лицо шапку и мгновенно уснул крепким сном сильно уставшего человека.

2

Спал он долго и проснулся, когда солнце село уже за холмы. Протер нагноившиеся глаза и долго зевал, чесался, оглядываясь и не понимая, где он и зачем сюда попал. Опухшее от сна лицо его не выражало ничего, кроме скуки и лени.

По дороге в сторону шоссе проехала машина с бидонами молока. Странник посмотрел вслед машине, лицо его оживилось, он быстро надел котомку, вышел на дорогу, перешел мостик над речкой и пошел к деревне, замеченной им еще днем.

Справа начались сочно-зеленые темнеющие овсы, потом потянулся двойной рядок елок. Солнце скрылось, оставив после себя узкую кровавую полоску заката. Эта полоса светилась сквозь черный ельник, и смотреть на это свечение и одновременно черноту было жутко. Странник заспешил, поднимая сапогáми пыль. Он боялся темноты и не любил ночи.

А запахи пошли теперь другие. Пахло похолодевшей травой, пылью на дороге, томительно благоухали донник и медовый тысячелистник, от елок шел крепкий смолистый дух. Небо было чисто и глубоко, потемнело, будто задумалось, и ясно был виден слева молочно-белый молодой месяц.

Дорога стала петлять лесом, оврагами. Странник шел все торопливее, шевелил ноздрями, втягивал воздух по-звериному, пугливо оглядываясь. Раза два он попробо-

вал затянуть песню, но смолкал, подавленный сумеречной тишиной.

Наконец, запахло жильем, попалась поскотина. Он пошел спокойнее, зорко глядя вперед. Скоро разбежались, остались сзади кусты и деревья, и он увидел большую деревню с речкой внизу и церковью на горке. Весь низ у реки был занят скотными дворами, и там, несмотря на подкравшуюся темноту, чувствовалась еще жизнь, как чувствуется она в улье с пчелами.

Уже дойдя почти до гумна, странник заметил идущую снизу от скотных дворов к деревне женщину и остановился, поджидая. Когда женщина подошла, странник сдернул с головы шапку, поклонился низким поклоном и, кланяясь, пытливо поглядел ей в лицо.

— Здравствуй, мать! Храни тебя господь, — сказал он глухо и важно.

— И вы здравствуйте, — помедлив, отозвалась она, поправила платок, облизала сухие губы.

— Здешняя?

— Я-то? Здешняя... А вы чей будете?

— Дальний я. Хожу по святым местам. Странник, значит.

Женщина с любопытством оглядела его, хотела спросить что-то, но застеснялась, тихо тронулась дальше. Странник пошел рядом с ней.

— Церковь работает? — спросил он, вглядываясь в золотисто-розовый крест колокольни.

— Церква-то? Где ж работать! Не служат... МТС в ней теперь. Батюшка был да дюже старый, помер годов уж двадцать.

— В безверии, значит?

Женщина смутилась, снова поправила платок, вздохнула, опустив глаза. Странник искоса глянул на нее. Была она нестара еще, но с темным, заветренным лицом и такими же темными руками. Сквозь выгоревшую старую кофту проступали худые плечи и почти не выделялись плоские груди.

— Где уж! — сокрушенно сказала она. — Молодежь-то нонича, знаешь какая, не верит. Ну, а у нас тоже работа круглый год да свое хозяйство, ни до чего. Батюшка когда наезжает, молебен на кладбище отслужим, вот и вся наша вера...

— Так... — протянул печально странник. — Эх, люди,

люди! Сердце мое болит, глаза бы не глядели на житье ваше! Сами себе яму роете...

Женщина грустно молчала. Улица была темна, только в пруду стеклянела вода, плавали вдоль осоки две припозднившиеся утки, жадно глотали ряску, торопясь наесться на ночь.

— Есть тут хоть кто верующий, божьему человеку приют дать? — с тоской спросил странник.

— Это переночевать, значит? Да что ж, хоть у меня ночуйте, места не пролежите.

Больше до самого дома ни странник, ни женщина не сказали ни слова. Только отпирая дверь, она спросила:

— Звать-то вас как?

— Иоанн! — важно и твердо сказал странник.

Женщина вздохнула, думая, может быть, о грехах своих, открыла дверь, и они вошли в темные пахучие сени, а оттуда — в избу.

— Раздевайтесь, отдохните... — сказала хозяйка и вышла. Иоанн снял котомку, пальто, стал разуваться. Долго с печальным лицом нюхал портянки, чесал большие набрякшие ступни, осматривался.

Когда снова вошла хозяйка, Иоанн сидел уже в одной рубашке, копался в котомке. Он вынул оттуда Евангелие, толстую тетрадь с надписью «Поминальница святого Иоанна» и большим крестом на обложке, пошарив, нашел огрызок карандаша, раскрыл тетрадь, подумал, спросил строго:

— Была в сем доме смерть?

Хозяйка вздрогнула, повернулась, пристально посмотрела на странного бородатого человека.

— Была, — негромко сказала она. — По весне сынок у меня помер. Шофером он работал в колхозе, через реку стал переезжать...

— Имя! — сурово остановил ее странник.

— Чего? — не поняла она.

— Имя, имя! Сына имя! — раздраженно прикрикнул он на нее.

— Сыночка-то? Федей звали... Говорили ему, погоди, не ездий, не погниют твои товары — части какие-то для МТС вез — стороной объехай, через мост, лед ведь сейчас тронется... Не послушал, горячий был... Утоп... Сыночек-то — утоп...

— Буду молиться! — перебил ее Иоанн, выписывая в тетради крупно: «Феодор». — Тебя как звать?

— Настасья...

— Так... Нас-тасья. Одна живешь?

— Вдвоем. С дочкой. Не дочка она мне, женка Федина, да я уж с ней...

— Муж был?

— Был, как не быть... На фронте погиб, в сорок втором...

— Имя?

— Михаилом звали...

— Так... — Иоанн помолчал. — Невестку как звать?

— Люба... Любовь, значит.

— Знаю, — сказал странник, записывая. — Хорошая?

— Это как же? — не поняла Настасья.

— Поведения хорошего? В бога верует?

— Нет... В бога не верует, комсомолка, а так не согрешу — хорошая. Зоотехникум кончила, работает, значит, на ферме, да еще завклубом ее поставили. Клуб у нас, так она в нем еще вечерами. Устает — день там, вечер там, да я и не перечу, конешно, скука одной-то, молодая, годочек только и пожили... Сынок-то, Феденька... Из армии пришел, мамуня, говорит... Мамуня...

Настасья сморщилась, сухие ее губы затряслись, по темным худым щекам покатились слезы. Странник сурово молчал.

— Садитесь, повечеряйте... — сквозь слезы сказала Настасья. — Самовар сейчас вздую...

— Иконы есть?

— Есть... Жены-мироносицы, троеручица божья матерь...

— Где? Проводи.

— Вон на той половине, пойдемте...

Она отворила дверь в чистую горницу. Иоанн со скучным лицом, тяжело ступая по половикам, пошел за ней, захватив «Поминальницу».

— Выйди, — сказал он, увидев иконы. — Молиться буду.

Со стуком опустился на колени, задрал бородку. Настасья тихонько вышла.

— Господи! — глубоким голосом воскликнул Иоанн. — Господи!

И замолк, засмотрелся в окно на неподвижные ябло-

ни. Настасья собирала на стол, звякала посудой. Эти тихие звуки, эти долгие летние сумерки были странно приятны ему, сладко трогали сердце. Сколько деревень он повидал, где только не ночевал! Все было разное везде: люди, обычаи, говор... И только сумерки, запахи жилья, хлеба, звуки везде были одинаковые.

Смотрел Иоанн в окно, вытягивал шею: внизу, за огородами — река, за рекой — поля, лес... Из лесу выполз уже туман, покрыл луга молочными прядями, скатывался потихоньку вниз, к реке.

— Господи! — вздыхал Иоанн и снова слушал тихое звякание посуды, смотрел в окно, в дали.

Настасья осторожно заглянула в горницу, увидела лохматую, давно не стриженую голову, темную шею, широкие твердые лопатки, большие ступни подвернутых ног.

— Кушать пожалуйте, — тихо позвала она.

Но странник не шевельнулся, не ответил думая о чем-то, упираясь длинными руками в пол. Настасья ушла, поставила на крыльце самовар, стала доить корову.

А странник услыхал через минуту в сенях легкие шаги, подумал торопливо: «Девка!», настороженно повернул голову. Стукнула дверь, на пороге горницы шаги замерли. Иоанн задрал бородку, широко закрестился, глядя в темные лики икон: знал, что пришедшая смотрит на него.

Шаги быстро застучали обратно в сени. Иоанн вскочил, беззвучно подошел к двери, приложился бурым ухом.

— Мама!

— Чего ты? — равномерное цвирканье молока по ведру прекратилось.

— Мама, что это за человек у нас?

— Так... Проходящий. Странник, веру ищет, ночевать попросился.

— Странник? Старый?

— С бородой, а так не дюже... Глаза у него молодые.

— Проходимец, может, какой-нибудь?

— Что ты, Христос с тобой! Человек божественный, молящий...

Слабо похрюкивал поросенок. Опять послышались равномерно-быстрые тугие звуки молока по ведру.

— Поросенка кормили?

— Нет, не поспела еще. Там я намешала ему, за печью.

— Я покормлю.

Иоанн метнулся от дверей в горницу, припал на колени, задрал бородку. «Стерва! — злобно думал он. — Выгонит еще, поночевать не даст!»

А в избе раздавались тихие хозяйственные звуки, тьма скоплялась по углам, уже ничего нельзя было разобрать — ни ликов икон, ни фотокарточек, ни почетных грамот, — все пропадало в темноте, все становилось таинственным. Когда стало совсем темно, а месяц над лесом побелел и стал осторожно заглядывать в окна, внесли горящую яркую лампу, зашумел самовар на столе, странник вышел из горницы, сунул в котомку Евангелие с «Поминальницей», сел на лавку, щурясь, стал следить за Любой.

3

Сели ужинать. Ел странник жадно и много, громко глотая, шевеля бородой и ушами.

— Кушайте, кушайте... — виновато говорила Настасья, подвигая к нему еду.

А он, поднимая воспаленные синие глаза от тарелки, каждый раз взглядывал на Любу, и та, чувствуя его взгляд, розовея скулами, нервничала, подрагивая бровью. Была она красива неяркой смуглой красотой, осталось в ней что-то от девушки — угловатость движений, робкая грудь...

Поглядывал на нее странник, нравилась она чем-то ему, и начинал он уже думать, что хорошо бы обрить бороду, жениться на такой девке, работать по хозяйству, спать с ней на сеновале, целовать ее до третьих петухов... От таких мыслей сердце билось тяжело где-то у горла, звенело в голове.

— Кушайте, не стесняйтесь... — просила его Настасья. — Вот грибочков попробуйте, ноничe рано грибочки пошли.

Наевшись, Иоанн перекрестился, привычно поклонился хозяйке и Любе, отодвинулся от стола, хотел рыгнуть, но застеснялся, стерпел, стал свертывать папиросу, рассыпая на колени табак и подбирая его.

— Курю вот, — сожалеюще сказал он. — Курю... Бес искушает. Сколько разов уже каялся, эпитимью накладывал — не могу...

Люба вдруг засмеялась, отворачиваясь, отошла к печке. Настасья засуетилась, приподнялась, умоляюще глядя на странника.

— Чего ты, ну, чего ты! Сбесилась ай нет?

Люба молчала, прикрывая глаза ресницами, сдерживала смех.

— Да, — повышая голос, сказал странник. — Умны многие стали, не верят, а бес-то тут как тут. Мельтешат все, жизнь суетливая стала, мыслей настоящих нету, машина все... Съела человека машина! В Апокалипсисе об этом прямо сказано.

Люба, усмехаясь, уже открыто смотрела на него.

— Что смотришь? — грубо спросил Иоанн, ощущая в груди веселую злость к ней. — Или не нравлюсь? Не видала таких-то? Может, жалеешь, что за стол сел?

— Чтой-то вы, бог с вами! — испугалась Настасья.

— Стола мне не жалко, избы тоже... — звонко сказала Люба. — Мамино это дело. А если уж прямо говорить... Смешно, конечно. Что вы ходите? Не стыдно вам? Бороду вот отрастили... Думаете, от бороды святости прибавится? Честное слово, прямо как на самодеятельности у нас!

— А ты не пошла бы?

— Я? Нет, я работу люблю.

— Работу... — странник засопел, стал смотреть в угол. — Глупая ты девка. В чем ваша работа? В бога не верите, а он есть и пребудет вовек! Работа... Эх, вы-ы! Я вот хожу, смотрю...

— Смотреть легко, — небрежно вставила Люба.

— Я вот хожу, смотрю, — продолжал странник громче. — Что вы делаете? Как живете? Лучше ль стало на земле жить? Хуже! Истинно тебе говорю — хуже! Воров стало больше, разврату больше. Евангелие святое читаю... Вот она книга-то! — он похлопал рукой по котомке. — Этого в техникумах да в институтах ваших нету... Нету!

— И не надо... — зевая, сказала Люба. — Без этого обходимся. Что-то устала я, пойду лягу... Спасибо, мама.

Она отошла от печки, взяла что-то в комоде, прошла

мимо, обдав странника запахом здорового, чистого женского тела, вышла в сени, стукнув дверью.

— Гордая девка, — перехваченным голосом сказал странник и усмехнулся. — Хара-актер!

— Что ж, молодые они, — примирительно отозвалась Настасья, убирая со стола. — Понятия другие. Смелые они теперь... Вы не обижайтесь. Жизнь-то у нее не легкая. Молодая, красивая, а... вдова.

— Нда-а, — обронил задумчиво странник. — Господь, значит, рассудил так. Я вот тоже не думал странником стать. Конечно, интерес к жизни у меня с другой стороны был. Псковской я сам, из деревни Подсосонье, не слыхала? Родителей моих в войну побило, царство им небесное, остался я один. Как быть? Туда-сюда мыкался, работал, поля разминировал, взорвалась одна мина, ранила меня в живот, под самый дых, еле жив остался, инвалидом стал... Ну, а что инвалиду? Работенку, может, какую легкую? Да образования нету, долго учиться, ежели на инженера там или агронома. Плохо мне стало в колхозе, скушно, душа у меня ненасытимая, — и потянуло меня в дальние дали. Стал я к богу припадать, — раньше-то тоже не верил... Старичок у нас в колхозе был — молоковозом работал — боже-ественный старичок. Он меня всему наставил, стал по книгам читать, — так на так все выходит. «Иди, сын мой, — это он, значит, мне говорит. — Иди, говорит, во святые места, молись, спасай нас всех от погибели и сам спасайся». Я и пошел, да вот уже пятый год хожу. Мно-ого народу ходит, люди все чистые, святые. Легко мне теперь. Стою к богу близко и с дороги своей уж теперь не сойду. Не-ет, не сойду!

— А теперь далеко ли идете? — сонным голосом спросила Настасья.

— Да вот завтра хочу до Борисова дойти, к животворящему кресту приложиться. Много я наслышан про него. А где я только не был! В Киеве при монастырях жил, подаянием кормился, во святой Киево-Печорской лавре был, место дивное. Молящихся много... И в Троице-Сергиевской побывал, в Эстонию даже заходил, на Ветлуге был, — ну там народ хмурый, беспоповцы, сектанты. Не люблю я их...

«А ведь она в сенях легла!» — внезапно подумал он о Любе, в сердце у него сладко заныло.

— Эх, мамаша! — весело и горячо заговорил он, возбуждаясь от того, что все так хорошо складывается: и хозяйка попалась верующая, и молодая вдова одна в сенях спит. — Ах, мамаша! Много я на свету исходил, а если сказать по душе, как перед господом истинным, — нету стороны лучше русской! Идешь ты по ней, жаворонок звенит, вот трепещется, вот трепещется, тут тебе донник цветет, ромашка на тебя смотрит, тут люди хорошие попадут, расспросят, ночевать позовут, накормят... А то лесами идешь, — духовитые леса у нас, шмели жундят, осинки чего-то лопочут, — вот хорошо-то, вот сладко! Нету над тобой начальства, нет законов никаких, встал — пошел. Что мне люди? Кто такие? Да и память у меня плохая, забываю всех, никого не помню... Нет, совсем не помню. Пересплю у кого, встану, богу помолюсь, хозяину поклонюсь — и дальше. А есть которые и не пускают: жулик, говорят. Обидно мне это, бог с ними, обидно! Только много еще добрых людей, верующих, адреса дают, зовут: живи-и! Да не хочу я на одном месте жить, тянет меня все, сосет чего-то... Особо по весне. Нет, не могу!

Странник задумался, замолчал, упершись руками в лавку. Хозяйка стала засыпать, кланялась, вздрагивала, моргала. Четко шли часы в горнице, тихо было.

— Спать чегой-то клонит, — сказала виновато Настасья и зевнула. — Завтра вставать чуть свет...

Она с усилием поднялась и, разбирая широкую деревянную кровать, проговорила немного смущенно, будто сама над собой посмеиваясь:

— Дояркой я теперь на скотном, первая я по району-то, обязательство еще взяла... Ложитесь-ка с богом, тоже устали небось.

— Да нет, уж я на полу как-нибудь. Подстелишь чего-нибудь, и ладно... — притворно забормотал странник, жадно глядя на кровать с периной.

— Ложитесь, ложитесь, и не думайте! Я не сплю на ней, не люблю, широко очень... Люба когда поспит, а я все на печке. Ложитесь!

— Ну ладно, спаси Христос, — с видимой неохотой и тайной радостью сказал Иоанн и стал раздеваться.

Настасья походила немного, что-то переставляла, убирала, мелькала на стенах большой сонной тенью. На потолке, потревоженные, начинали гудеть мухи. Потом

Настасья подошла к столу, щурясь, задула лампу, и в избе стало темно.

4

«В сенях ли легла?» — подумал о Любе странник, томясь от сильного желания. Ему не лежалось, он ворочался, смотрел на лунные пятна света, наконец, встал, белея в темноте нижней длинной рубахой.

— На двор забыл сходить... — пробормотал он, нашаривая ручку двери. Вышел в черные сени, постоял секунду, привыкая к темноте, прислушался, услыхал сонное дыхание Любы. «Здесь!» — подумал радостно, пройдя сенями, открыл засов, вышел на крыльцо.

В деревне было темно, тихо, кое-где в избах не спали, горел огонь. Далеко где-то разговаривали, смеялись. Луна светила в полную силу, но стояла еще низко, резкая тень избы тянулась далеко за дорогу. Мерцали некрупные звезды, холодало, в поле стрекотал трактор, но в какой стороне — не понять было. Голоса и смех все приближались, стали видны слабые огоньки папирос. Странник продрог, опять тихо прошел сенями, вошел в избу, дверь за собой не прикрыл. «Подожду еще, пусть хозяйка крепче заснет, тогда уж...» — подумал он, ложась и закрывая глаза.

За окнами послышались тихие голоса, негромко вякнула гармошка. Потом несмело постучали в окно. Вытянув шею, Иоанн увидел за окном две девичьи фигуры. Опять забарабанили в стекло виновато и тихо. В избе крепко спали, никто не шевелился.

— Ну что? — спросил за окном мужской голос. — Спит? А ну, давай погромче...

Парень сильно загрохотал в раму кулаком, прыснул, отскочил от окна. «Черти их принесли!» — с досадой подумал Иоанн.

В сенях затопали босые ноги, в избу нетвердо вошла Люба в одной сорочке, растворила окно.

— Чего вам? — сердито спросила она.

— Любушка, — просительно заговорил девичий голос. — А мы думали, что ты не спишь...

За углом засмеялись.

— Верно, думали... Дай ключа, в клубе потанцевать...

— Дай, Любушка, — подхватила весело и жалост-

ливо другая. — А то совсем засохли. Лето, а ни кино, ничего не видим...

— Не дам! — строго сказала Люба. — Спать ступайте!

Странник не шевелился. Затаив дыхание, смотрел на ее фигуру, освещенную луной, на крепкие руки и плечи, на грудь.

— Ни кино не видим, ни самодеятельности никакой, — продолжал уже обиженно второй голос.

— Любушка, мы на часок, — просительно ввернула первая. — Время-то — рано!

— Какой рано! Светать скоро будет!

— Где светать, где светать! — жарко отозвались за окном. — Коля, Коля, скажи, какой час?

— Без двадцать одиннадцать, — сиповато сказал кто-то за углом и засмеялся.

— Не дам ключа! — твердо сказала Люба. — Председатель не велел. Сегодня на правлении вопрос ставили. До утра танцуете, а потом на работу не подымешь. Спать надо!

Люба закрыла окно, мелькая белыми икрами, ушла спать в сени. Девушки пошептались о чем-то, отошли.

— Не дала? — врастяжку спросил кто-то за углом. — «Тут-то она ему и сказала, за мной, мальчик, не гонись».

Заиграла гармошка, надтреснутый голос фальцетом вывел томительный куплет частушки. Потом голоса рассыпались, отдалились, стало очень тихо. Во дворе три раза прокричал петух. Странник сел на кровати, свернул папиросу, осторожно закурил в кулак, роняя искры на пол. Докурив и пригасив окурок в цветочном горшке, он подождал немного, встал, подошел неслышно к печке, потолкал Настасью, послушал: та тихонько посвистывала носом.

Тогда Иоанн решительно вышел в сени, крепко притворил за собой дверь, чувствуя холод и дрожь в животе и ногах, вытянув руки, медленно двинулся к тому месту, где спала Люба.

Нащупав постель, он прилег с краю, сдернул тонкое одеяло, скользнул руками под сорочку и всосался долгим поцелуем в губы. Люба проснулась, вздрогнула, вывернула лицо из-под бороды, ударила странника в грудь и вскрикнула. Иоанн навалился на нее всем телом, зажал рот рукой и зашептал:

— Что ты, что ты, я это... Не бойся, я это...

— Пусти, бродяга! Богомолец чертов, пусти! — закричала Люба и, вырвавшись, села, зажав рубашку в коленях.

— Погоди... Женюсь на тебе, не шуми ты, послушай, что говорю... — зашептал он. — Женюсь, хоть завтра... Бороду сбрею, в колхозе буду работать... В баню схожу, — добавил он, вспомнив, что давно не мылся в бане. — Иди ко мне, приласкаю...

— Мама! — крикнула Люба, соскакивая с постели и прижимаясь к стене. — Отойдешь ты от меня, черт поганый? — старалась она за грубостью скрыть свой ужас перед ним.

— Я тебя любить буду! — тоскливо шептал странник, чувствуя уже, что ничего не выйдет. — Я здоровый, молодой, сила во мне мужская кипит... Бороду хоть сейчас сбрею! Ты подумай, ребят-то нынче в колхозах совсем нет, пропадешь или за вдовца выйдешь, на детей... Иди сюда, ну! Хотишь, в землю поклонюсь?

— Мама! — опять крикнула Люба. — Да что же это!

В избе послышался шорох.

— Тише ты! — шикнул на нее странник. — Ухожу, ухожу, будь ты проклята, ведьма, сатана...

Он поднялся, нашарил дверь, покачиваясь, вошел в светлую от луны избу.

— Ктой-то? — окликнула его с печи хозяйка сонным голосом. — А? Ктой-то?

Странник молча лег на кровать, трясся весь, скрипел зубами, на глазах у него выступили слезы от обиды и разочарования.

Хозяйка пошевелилась на печи и затихла — тихонько захрапела.

— Сука! — шептал странник. — Сволочь, распалила, а?

В сенях стукнуло, покатилось, загремело, послышались шаги на потолке, потом опять заскрипело что-то и стихло.

— На избу полезла, стерва, — злобно шептал странник. — И лестницу затащила... Ну и черт с тобой, будь ты, анафема, проклята!

Он опять закурил, на этот раз не скрываясь, матерясь шепотом. Время тянулось, лунный свет переместился, начало светать, а странник все никак не мог заснуть, ворочался на мягкой перине.

5

Разбудил его утром петух, — кричал заливисто под окном. Умываться он не стал, позевал, поскреб голову, долго сидел неподвижно, пытаясь вспомнить, что ему снилось, но так и не вспомнил. Солнце напекло, в избе было душно, пахло кислым, летали мухи, — все стало обычным и надоевшим, вчерашняя таинственность исчезла. Иоанн оделся, сел у окна, закурил и задумался.

Громко стукнув дверью, в избу вошла Настасья, хмуро и странно глянула на странника, подошла к печке, взяла ухват, загремела заслонкой, наклоняясь, проворно и зло двигая острыми локтями. «Рассказала про меня девка-то...» — догадался Иоанн.

Он встал, медленно с нарочито-печальным, покаянным лицом надел пальто, взял котомку. Опершись на ухват, Настасья молча смотрела на него, в нитку сжав губы. У порога странник, вдруг повеселев, сдерживая улыбку, низко, как и в первый раз, поклонился.

— Ну, спаси Христос... — сурово сказал он. — Спаси тебя бог и помилуй... А я помолюсь за всех за вас!

— У, кобель красноглазый! — вполголоса сказала Настасья, заливаясь пятнистым румянцем и отворачиваясь. Странник надел шапку и вышел на крыльцо.

Как всегда, когда он уходил откуда-нибудь, ему становилось все веселее, веселее — дорога звала его, и забывалось и меркло вчерашнее. «День да ночь — сутки прочь!» — радостно думал он, спускаясь огородами к реке. У реки он скоро отыскал и перешел брод, поднялся на большой пологий холм и вошел в лес, из которого вчера вечером сползали к реке молочные пряди тумана. В лесу, поплутав немного, странник вышел на дорогу и пошел по ней на запад.

Куда выведет его эта дорога, он не знал. Но было у него снова легко и радостно на душе, опять он шел спорой походкой человека, привыкшего много ходить, шуршал палкой по траве и кустам, постукивал ею по деревьям, тихонько напевал что-то веселое. И только воспоминания о ночной неудаче и слабая тоска по чему-то незнакомому, которую он почувствовал вчера, стоя на коленях в темной горнице, слабо покалывала сердце.

Так шел он весь день, а вечером попросился ночевать в далекой деревне.

НЕКРАСИВАЯ

1

Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах еще висли неугомонные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставились еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с вальсами и танго, топот и присядку — шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Новодворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Соня — девушка лет двадцати шести, худая, с заметными жилами на шее, поблекшим лицом и редкими, неопределенного цвета волосами — молча сидела в углу. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, от того, что никто ее не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и сколько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все еще надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги ее вышли замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, на чужую свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: «Горько!» — и ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и диковатыми глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал ей, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее полон нежности. Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал вскрикивая, болтая длинными руками, дико озирался на всех, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых пьяных, потных, презирала и жалела себя. Недавно она сшила платье, очень хорошее темно-синее платье, все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось как было...

2

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда — на крыльцо.

Избы стояли черные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок, она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и чтобы не услышали, зажала в зубах душистый платок. Но ее никто не слышал, только вздрагивала береза. «Ну, все, все! — говорила себе Соня, крепко закрывая глаза. — Ну хватит же! Больше не надо! Надо же идти!» И она хотела идти, откачивалась от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.

— Кто такое? — громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась: это был Николай. Его качало. Чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землей.

— А! — пьяно протянул он. — Это вы? А я... на огороде был.

Он качнулся и прижался к ней.

— На... свадьбу, сволочь, пригласил! — с усилием выговорил он. — А? Убью! Теперь все! Литром хотел откупиться... Врешь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался.

— Вам плохо? — испуганно спросила Соня. — Хотите воды?

— Кого? Мутит меня...

Он оторвался от Сони, пошел за угол. Там, упершись головой в стену, стал давиться, икать, отдирая пальцами липкую слюну. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то непонятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

— Вам легче теперь? — тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.

— Малость полегчало... Чего это я вас раньше не видал? Я тут всех знаю.

— Я редко хожу на гулянки.

— А! Вы при школе живете?

— При школе.

— Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.

— Вы чего плакали-то? — спросил он вернувшись. — Обидел кто?

У Сони благодарно забилось сердце, она опустила голову.

— Нет, никто не обидел...

— А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю!

Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

— Послушайте, вы совсем пьяный! — с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

— Ну да! — Николай тер себе рукою лицо. — Какой там пьяный...

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, сипло дышал, крепко держал Соню за руку.

— Ну, расскажите же что-нибудь, — попросила она, поднимая к нему бледное в темноте лицо.

— Чего там рассказывать... — хрипло ответил он, схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

— Пустите! — шептала она вырываясь. — Пустите!

Не такими представляла она свои первые поцелуи, но ей так хотелось любить кого-нибудь, так хотелось ласки, что она тотчас простила ему все и смотрела на него испуганно и преданно. Она одновременно отталкивала его и прижималась, всхлипывала и повторяла уже безвольно:

— Пустите! Какой вы...

— Тихо! — говорил он шепотом, толкая ее в темные сени. — Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура!

В сенях он прижал ее к стене, расстегнул платье, ощу-

пал тело ее жадными руками, грубо щипал, ерзал лицом по ее тощей груди.

— Коля... Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

— Любишь меня? — спрашивал Николай, дыша перегаром. — Любишь? — И он снова зарывался носом ей в платье.

— Не надо, Коля, не надо! — сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее. Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

— Ну, ладно... — забормотал он. — Не сердись. Ты вот что... Ты приходи завтра к риге. Придешь?

— Когда? — шепотом спросила Соня, вся дрожа.

— Часов в семь, ладно? Будешь?

— Приду.

— Ага... — Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурок, долго притаптывал его каблуком. — Ну, пока!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и дикой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы. «Боже мой, какая я страшная! — подумала она и вздрогнула. — Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!»

Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против ее дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.

— Это любовь? — спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

3

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошел было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окна на мокрых кур и лужи. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проез-

жающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал ее, сегодня назначил свидание, писала и сама не верила тому, что пишет. Письмо получилось большим и немного грустным. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придет Николай или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вчерашнее темно-синее платье, завила немножко волосы и надушилась. Ладони ее потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что изо всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она идет. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла.

Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Соню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя в ложок, на дне которого никогда не высыхала исслеженная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождавшись ее. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдали показалась рига. Никого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запыленные туфли. Ей показалось неудобным сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагревшейся за день стены шел жар.

Пришел мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушел. Несколько раз он насмешливо оглянулся. «Он догадался! — со стыдом думала Соня. — Хорошо, что он не из моей школы!»

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки: «придет» — «не придет...» Вышло «не придет». Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придет Николай. Она вставала, выходила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шел низом от реки, засунув руки в карманы, в накинутом на плечи пиджаке. Подходя, он с напряженным вниманием разглядывал Соню, как человек что-то забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней. Подойдя, он отвел глаза и вяло протянул руку:

— Привет...

— Здравствуйте, — ответила Соня, подавая дрожащую руку и не смея поднять глаз.

— Давно ждете?

— Нет...

— Гм... Ну, зайдемте в холодок.

Они обошли ригу и присели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, все меркло, тень от риги протянулась через все поле.

— Вы благополучно вчера дошли? — спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно, понимающе улыбаясь.

— Нормально... — Николай зевнул и снял пиджак. — Не выспался только.

— Вы вчера были нехороший, — мягко сказала Соня.

— А чего? Бил что ли вас? — Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

— Скоро стемнеет, — заметила Соня, покорно приникая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

— Как попозднеет, пойдем в горох, а? — Николай мотнул головой куда-то вправо. — Теперь там гороху нет, шалаш один стоит. Пойдешь? В шалаше полежим...

— Не надо об этом, Коля, — тихо попросила Соня и вздохнула.

— Эх! — воскликнул вдруг Николай. — Спать охота! Ну-ка, дай прилягу...

Он отодвинулся и лег, разбросав ноги в сапогах, положив голову Соне на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руки и пощупал у Сони ребра.

— Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

— Конституция такая, — насильно улыбаясь, сказала, наконец, она.

— Ну — конституция! Глисты, наверно... Или больная чем-нибудь. Это как скотина: заболела — как ни корми, все одни мослаки.

Соне вдруг стало все безразлично, сердце подошло к горлу, и она несколько раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

— Что это вы ругались вчера? — спросила она после долгого молчания.

— Так... — Николай нахмурился. — У меня с ним свои счеты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видала вчера невесту? Гулял я с ней...

— Вас, наверное, многие девушки любят? — тоскливо сказала Соня.

— Ну их к черту! — Николай сморщился. — Знаю я ихнюю любовь!

— Зачем вы так, Коля? — быстро сказала Соня. — Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди! Нужно прежде всего хорошее в них искать...

Николай поднял голову и сплюнул.

— Вы не верите в это? — упавшим голосом спросила Соня.

— В чего это?

— В чистоту человека.

Николай засмеялся.

— Ох, и любят же бабы воду мутить! Чистота... — он поворочался, зевнул и закрыл глаза. От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло такой пресыщенностью, что Соня оробела. И на минуту ей показалось, что все ее представления о любви и дружбе, и о жизни ничего не стоят, что все это выдумано литературой, а настоящая жизнь совсем иная: грубее, проще, страшнее — и нужно подчиниться ей.

Соня робко дотронулась до лица Николая, стала перебирать его волосы, жадно глядела на него, все еще стыдясь и краснея.

— Коля... Хочешь я поцелую тебя? — спросила она шепотом.

— Обожди! — он поднял голову и прислушался. По-

том сел, опираясь рукой о ее колени. По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

— Эй! — крикнул Николай.

Шедшие остановились.

— Куда это?

— На гулянку. А кто это? Никак Николай?

— Он самый. Где гулянка-то?

— В Сосновке...

На дороге закурили и, посвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед, потом взглянул на Соню, и лицо его изобразило тоску.

— Обождите! — крикнул он вдруг. — И я с вами!

Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накинул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне:

— Ну, пока! Еще когда повидаемся... — Отвернулся и, придерживая пиджак, рысцой стал нагонять тех, на дороге.

4

Совсем стемнело. Сбоку вылупился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: топ-топ-топ...

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв кверху лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала полегчает, но не легчало. Она попробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло. Опять шла она мягкой дорогой, но теперь ей светили звезды. Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния млечного пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копешки льна, то светлело неубранное поле ржи...

— Негодяй! — говорила Соня с болью. — Ах, какой негодяй!

Больше она не могла ничего сказать и ни о чем подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звездочка его фары, слышен был слабый стрекот мотора.

Скоро показалась темная деревня. Все уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. «Пусть кусает!» — с яростью думала Соня. Но собака не укусила, только дунула два раза на ноги, остановилась, подумала и пошла куда-то в темноту.

А Соне было мерзко, гадко, ей казалось, что какая-то чистота безвозвратно ушла от нее и никогда теперь не избавиться ей от постыдных воспоминаний.

«Какой негодяй! — все думала Соня. — Как стыдно! Боже мой, какая я дура! Какая несчастная, жалкая дура! Поверила в какую-то любовь, мечтала, мучилась, думала о чистоте... Ах, как стыдно!»

Она пришла домой, не зажигая света, ощупью села к столу и заплакала. А через несколько дней ей стало легче. Она старалась не вспоминать о Николае и снова надеялась на счастье.

НОЧЬ

Мне нужно было попасть на утиное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте.

Я шел по мягкой пыльной дороге, спускался в овраги, поднимался на пригорки, проходил реденькие сосновые борки с застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в поле... Никто не догонял меня, никто не попадался навстречу — я был один в ночи.

Иногда вдоль дороги тянулась рожь. Она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлея в темноте; склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую робкую ласку. Воздух был тепел и чист; сильно мерцали звезды; пахло сеном и пылью и изредка горьковатой свежестью ночных лугов; за полями, за рекой, за лесными далями слабо полыхали зарницы.

Скоро дорога, мягкая и беззвучная, ушла в сторону, и я ступил на твердую мозолистую тропку, суетливо вившуюся вдоль берега реки. Запахло речной сыростью, глиной, потянуло влажным холодом. Плывущие в темноте бревна изредка сталкивались, и тогда раздавался глухой слабый звук, будто кто-то тихонько стукал обухом топора по дереву. Далеко впереди на другой стороне реки красной точкой горел костер; иногда он пропадал за деревьями, потом снова появлялся, и узкая прерывистая полоска света тянулась от него по воде.

Хорошо думается в такие минуты: вспоминается вдруг далекое и забытое, обступают тесным кругом когда-то знакомые и родные лица, и мечты сладко теснят грудь, и мало-помалу начинает казаться, что все это уже

было когда-то... Будто проходил уже прохладными от сырости оврагами и сухими борками, и река темнела, с плеском обрывались в нее куски подмытого берега, тихонько стукались плывущие по воде бревна, появлялись и исчезали черные стога сена и деревья с искривленными в немой борьбе ветвями, и зарастающие тиной озерца с черными окнами... Только никак не вспомнить, где же, когда это было, в какую счастливую пору жизни.

Я шел уже часа полтора, а до озера было еще далеко. Ночью тяжело идти: надоедает спотыкаться о корни и кротовые кучи, устаешь от боязни сбиться с дороги, заблудиться в незнакомом лесу. Я почти жалел уже, что ушел ночью из дому, и думал, не присесть ли под деревом, не подождать ли рассвета, как вдруг до меня донесся тонкий дрожащий звук, похожий на песню. Я остановился, прислушался... Да, это была песня! Слов нельзя было разобрать, слышалось только протяжное: «Оооо... Аааоо...», но я обрадовался этому голосу и на всякий случай прибавил шагу. Песня не приближалась и не удалялась, а все так же тянулась тонкой запутанной нитью. «Кто это? — думал я. — Сплавщик? Рыбак? Охотник? А может быть, как и я, идет ночью, идет впереди меня и, чтобы не было скучно, поет песню?»

Я пошел быстрее, выдрался из елового колка, прошел осиновым подлеском и, наконец, внизу, в небольшом распадке, окруженном со всех сторон густым лесом, увидел костер. Возле него, подперев рукой голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел.

Спускаясь вниз, я споткнулся, громко затрещал валежником, человек у костра замолчал, живо повернулся, вскочил и стал вглядываться в мою сторону, загораживаясь ладонью от костра.

— Кто тут? — вполголоса испуганно спросил он.

— Охотник, — ответил я, подходя к костру. — Не бойтесь...

— А я и не боюсь, — он сделал равнодушное лицо. — Мне что! Охотник так охотник...

Человек, на чью песню я так спешил, оказался кривоногим парнем лет шестнадцати. Он был некрасив, с худой кадыкастой шеей и большими оттопыренными ушами. Одет он был в телогрейку, замасленные ватные брюки и кирзовые сапоги. На голове, будто приклеенная, сидела маленькая кепочка с коротким козырьком.

Несколько секунд он пристально разглядывал меня, потом с видимым любопытством спросил:

— За утями идете?

— Да вот хочу на озеро пройти, — сказал я, снимая ружье.

— Это на какое же?

Я сказал.

— Ну, тут близко! — успокоил он меня и, повернув голову к реке, прислушался.

— Это не вы сейчас кричали? — спросил он немного погодя.

— Нет... А что?

— Не знаю, кричал кто-то... Крикнет, помолчит, опять крикнет... Я хотел было идти, да Лешка забоялся, брат мой...

Он снова замолчал, и я услышал частые легкие шаги. Кто-то бежал от реки сюда, к костру.

— Семен, Семен! — послышался испуганный и восторженный мальчишеский голос. Из темноты на свет костра выскочил мальчик лет восьми в большой, не по его росту, телогрейке. Увидев меня, он сразу остановился и, приоткрыв рот, стал переводить взгляд с меня на Семена.

— Ну что? — лениво спросил Семен.

— Ой, Семен! Сидит кто-то! — мальчик снова посмотрел на меня и перевел дух. — На двух крайних нету, а на средней сидит! Я рукой взялся, а там — ходит!

— Врешь!

— Большая рыбина ходит! — и он сделал рукой волнообразное движение, показывая, как «ходит».

Семен вскочил, подтянул штаны и, пробормотав: «Я сейчас!» — пропал в темноте. Мальчик некоторое время не моргая смотрел на меня, потом, не отводя от меня взгляда, ступил назад раз, ступил другой, повернулся и тоже бросился в темноту — только ноги затопотали.

Скоро я услышал странную возню, приглушенные голоса, плеск воды; затем все стихло, раздались шаги, и ребята вернулись к костру. Семен нес на вытянутой руке небольшую стерлядку. Стерлядка слабо шевелила хвостом.

Запихнув рыбу в полотняную сумку, Семен сел возле меня и улыбнувшись сказал:

— Вот так и ловим. Три штуки уже поймали.

— Одну я вытащил, — прошептал мальчик и, потупившись, стал теребить пуговицу на телогрейке.

— Н-но? — веско произнес Семен и зловеще замолчал.

Мальчик засопел и еще больше смутился.

— Брат мой, — отрекомендовал мне его Семен, — Лешка. Вы не глядите, что он тихий — притворяется...

Леша пробубнил себе что-то под нос.

— Что? — Семен широко открыл глаза. — Что ты сказал?

— Ничего... — испугался Леша.

— Смотри у меня! — Семен исподлобья глянул на меня, и вдруг мгновенная озорная улыбка осветила его лицо; блеснули глаза, сверкнули зубы, даже уши сдвинулись. Леша тоже фыркнул, но тотчас спохватился и еще ниже опустил голову. Семен полез в карман, немного помедлил, вытащил, наконец, измятую пачку папирос, закурил и предложил мне. Я отказался.

— Не курите, значит? — сожалеюще сказал Семен и покосился на Лешу. Потом облокотился, сладко зевнул, поежился и замер, мечтательно глядя в огонь. Лицо его затуманилось и приняло то теплое, неопределенное и поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чем-то неясном, но очень хорошем. Костер потухал, угли, остывая, подергивались красноватым пеплом; кругом стояла глухая ночная тишина, только наверху, где-то в кустах, позванивая боталом, бродила лошадь.

Леша внезапно поднял голову и прислушался.

— Идет кто-то, — боязливо выговорил он и пересел ближе к Семену.

— Ерунда! — сказал Семен и покосился на мое ружье

Несколько секунд прошло в безмолвии, затем явственно послышался хруст валежника. Семен загадочно посмотрел на меня и напряженно усмехнулся.

— Медведь, наверно, — прошептал Леша и еще ближе подвинулся к Семену. Глаза его с расширенными зрачками стали огромными.

— Полуношничаем, рыбаки? — неожиданно громко раздался хрипловатый голос, и к костру, как-то сразу обозначившись, подошел пожилой человек с ружьем. Не взглянув на нас, он вытянул ногу к огню и стал, огорченно покряхтывая, разглядывать оторвавшуюся подметку.

— Ах, будь ты неладна, — бормотал он. — Вот оказия, а? Ну что, угадал я? Рыбачите? — снова обратился он к нам и поднял голову. — Э-э, да тут знакомые! — он улыбнулся ребятам. — Что же, много наловили?

Семен воровато бросил папироску в костер и строго посмотрел на Лешку. Тот фыркнул.

— Маловато, Петр Андреич, — смущенно заулыбался Семен. — Разве вот под утро что будет...

— А ну покажь, покажь...

Семен с готовностью вывалил рыбу из сумки.

— А, стерлядки, — с удовольствием выговорил Петр Андреевич. — Ну и хорошо. Мелковаты только.

— Раз на раз не приходится, Петр Андреич.

— А конешно, — охотно согласился Петр Андреевич и задумался. Глядя в огонь, будто уйдя от нас куда-то, он машинально полез в карман, вынул папиросы, закурил, бросил спичку в костер и все так же бездумно проследил, как она горела маленьким ярким пламенем и, погаснув, растаяла, слилась с розовым пеплом.

Был он не стар, но с глубокими морщинами на щеках; губы тонкие, нос длинный и тоже тонкий, лоб шишковатый, узкий. Вообще лицо его производило впечатление чего-то жесткого, напряженного. Ружье у него было старое, одноствольное, с перетянутым проволокой прикладом, из сапога с оторвавшейся подметкой выглядывала портянка...

— А вы что, или на Суглинки идете? — спросил вдруг Семен.

— А? — вздрогнул Петр Андреевич. — На Суглинки? Почто на Суглинки? Бреду дальше...

— А то наш механик давеча полную сумку приволок оттуда.

— Двух щук поймал на дорожку, — вставил Леша. Бо-ольшие щуки.

— Это Попов-то? — спросил Петр Андреевич. — Ну, ему хорошо, он с собакой. Нет, я дойду до Овшанки, а там полевее, аккурат у реки, озерцо есть, маленькое озерцо-то...

— Около Овшанки? — задумчиво переспросил Семен. — Нет, в тех краях не был я... Не приходилось. Я все больше по этому берегу места знаю.

Снова помолчали. Петр Андреевич переступал с ноги на ногу, негромко покашливал. Леша свернулся

калачиком возле брата. Ему было очень хорошо, это проглядывало решительно во всем: в уютной позе, в блеске глаз, частой улыбке...

— Не знаешь, перевозчик у себя? — спросил Петр Андреевич.

— У себя. Давеча проплыл вверх. С гармошкой плыли... Гуляют они. Сын женился. Мотьку Медуницыну из второго цеха взял.

— Это рябенькая такая?

— Она. Чего он хорошего в ней нашел? Я бы не женился на такой...

— Ну, ты еще в этих делах не понимаешь, — усмехнулся Петр Андреевич и повернул голову в сторону перевоза, как бы надеясь услышать гуляние. — Так гуляет, говоришь, перевозчик-то? А он перевезет ли меня? — обеспокоился вдруг он. — Не повезет, пожалуй, а? А то повезет да и утопит? Пьяные, наверно, все...

Семен тоже повернулся в сторону перевоза.

— Кто ее знает, — сказал он неуверенно. — Да вы лодку-то сами отвяжите, да и переедете. У него ведь их три, лодки-то.

— А и верно! — Петр Андреевич засмеялся и посмотрел на свой сапог.

— А тут еще тоже холера! Подошва-то напрочь отскочила. Нет ли веревочки? Иду, понимаешь, темень... О корень споткнулся, будь ты неладна, — только трыкнуло!

Леша вытащил из-за пазухи кусок бечевки. Петр Андреевич взял его, подергал и стал перевязывать головку сапога.

— Вы на что ловите-то? — спросил он.

— На подонник, — быстро ответил Семен. — На миногу.

— На миногу? Это хорошо, на миногу, она ее любит, стерлядка-то. А тут я иду, смотрю, на той стороне волки воют. Не слыхали? Подрос, видно, молодняк-то.

— У наших соседей, — оживился Леша, — волк козу утащил. Прямо днем! Коза-то старая была, худая. Как он ее схватил, она мемекнула — и готова! А он через огород да в поле, да полем, полем в лес... Дядя Федор выскочил, глянул да как топором в стенку саданет! Так и сейчас в стене торчит, никто вынуть его не может...

— Это верно, было такое дело, — подтвердил Семен. — А то еще было: иду я тут как-то с рыбалки, а уж вечер, смерклось... Так только, немного на закате желтеет да дорога видна хорошо. И вот прошел я лесок, что за кладбищем — знаете? — и будто кто меня толканул: оборотился я и сперва не разобрал, а после гляжу, возле кустов будто темнеет что и глаза горят, ровно гнилушки. Трое их, значит, сидят и на меня глядят, а у меня ноги сразу встали, как другой раз во сне бывает: хотел бы бежать, да не могу и по́том ошибло. Думал, конец, но обошлось. Не тронули.

— Летом они к человеку смирные, не трогают, — уверенно сказал Петр Андреевич.

— Дядя Петь... — начал Леша, взглянул на нас и улыбнулся. — А ведь мы на вас думали — медведь! Идет похрястывает...

— Кто думал-то? — Семен пожал плечом. — Сам думал, так на других не вали.

— Нет, ребятки,— улыбнулся Петр Андреевич. — Медведь на огонь не полезет. Хотя и так рассудить: кто тут по ночам бродит? Только медведи да охотники... Тоже охотник? — обратился он ко мне. — Может, места здешние не знакомы вам, так пойдемте со мной. Не хотите? Ну-ну... Конешно, всякий ко своему месту стремится.

Петр Андреевич посмотрел на звезды, протянул широкую темную ладонь Семену.

— Прощай покуда. Побреду, а то скоро светать начнет. Да! Ведь я слыхал тебя прошлый раз в клубе-то... Отец небось гордится? Молодец!

Он похлопал Семена по плечу, кивнул нам с Лешей и пошел во тьму, осторожно ступая перевязанным сапогом. Семен сидел, низко опустив голову, ковырял мозоли на ладони, хмыкал. Уши его потемнели.

Леша вдруг потянулся, выгибаясь всем телом, зевнул и потер глаза.

— Спать охота, — заявил он.

— Ну и спи, — Семен почесал брата за ухом. — Спи.

— Да, — Леша недоверчиво улыбнулся. — А сам утром пойдешь проверять и не разбудишь.

— Да разбужу, вот чудашка!

— Дай честное комсомольское!

Семен взглянул на брата, снисходительно улыбнулся

и лег на спину. Было примерно около двух часов, тьма стала как будто еще плотнее, хотелось лечь и смотреть попеременно в огонь, на звезды, на едва видные ближние деревья, слушать редкие и неясные ночные звуки, гадая птица ли перепорхнула, шишка ли упала или так что померещилось....

— Лешка! — встрепенувшись сказал Семен. — Тащи дров!

Леша вскочил, исчез во тьме, громко затрещал сучьями и скоро принес целую охапку сушняку. Отобрав сучья поменьше, он наваливал их на костер, сел на корточки и, выпучив глаза, стал раздувать огонь. Он дул так сильно, что от костра полетели угольки, тучей поднялся пепел.

— Гляди лопнешь, — серьезно заметил Семен.

Леша поднял голову, взглянул на нас бессмысленным взглядом и продолжал дуть с неистовой силой. Наконец сучья все разом ярко вспыхнули, затрещали, вверх полетели крупные искры. Стало горячо, и мы, жмурясь, отодвинулись от огня.

Я полюбопытствовал, за что хвалил Семена Петр Андреевич. Семен смутился и опять принялся за свою ладонь.

— Да так, вообще... — пробормотал он.

— Он всякую музыку сочиняет, — охотно сказал Леша. — У нас в школе даже два раза играл и в клубе..

— Ну? — повернулся к нему Семен. — Дальше что

— Ничего...

— Тогда помалкивай!

Семен кинул на меня быстрый испытующий взгляд нехотя признался:

— Вообще-то, конечно, любитель я этого дела.

— Ему батя баян купил, — опять не вытерпел Леша. — Он, знаете, как на баяне играет! Он что хочеш вам сыграет!

— Это верно, — подтвердил Семен и вздохнул. — Верно, играю. А только у меня мечта есть, такая мечта Как песня раскрывается? Ведь песню-то, ее можно всяк повернуть и сыграть ее можно, как никто не играл. Правильно я говорю? Я как играю? Беру мелодию и прибавляю к ней еще голос, и вот песня уже сама по себе, голос вроде сам по себе. А можно, ежели мало, еш один голос прибавить, и тогда уж получится совсем ина

музыка. Но и тут не все. Это только правая рука, а в левой — там гармония. Аккорды, значит. Возьмешь аккорд, вроде и хорошо, но ежели прикинуть на тонкий слух, то чистоты настоящей и вкуса нету. Нету истинной чистоты! А песня, особо ежели долгая, она должна свой запах иметь, как эта река или лес. Я вот беру в клубе сборники для баяна. Ну, сыграю и вижу: не то! Схватит меня за сердце, не могу я, ну совсем не могу — и начинаю по-своему перекладывать...

Он вдруг подозрительно вгляделся в меня, стараясь угадать, не смеюсь ли я над ним. И, успокоенный, продолжал, часто моргая, шевеля пальцами темных рук

— У меня мечта есть... Сочинить одну вещь, чтобы вот такую ночь изобразить. А что? Лежу ночью у костра, а у меня в ушах так и играет, так и мерещится. А сочинил бы я так: сперва, чтобы скрипки вступили тонко-тонко. И это была бы вроде как тишина. А потом еще и скрипки тянут, а уже заиграет этот... английский рожок, таким звуком — хриповатым. Заиграет он такую мелодию, что вот закрой глаза и лети над землей куда хочешь, а под тобой все озера, реки, города и везде тихо, темно. Рожок играет, а виолончели ему другой голос подают, поют они на низких струнах, говорят, вроде как сосны гудят, а скрипки все свое тянут и тянут тихонько. Тут и другие инструменты вступают и все вместе играют громче и громче: ту-ру-рум! тум-тум, та-та-та-та... И заиграет весь оркестр необыкновенную музыку! Главное. чтоб там инструменты были, которые как колокольцы звенят. Ну, а после надо понемногу инструменты убирать, и будет все тише и тише, и окончат опять же одни скрипки, долго будут тянуть, пока совсем не замрут...

Семен смотрел в темноту, моргал, облизывал пересохшие губы.

— А еще, — продолжал он, — надо будет колокол добавить, чтобы он звонил равномерно. Только потихоньку. А как луна из-за леса выходит, ведь это можно изобразить?.. А назову я ее «Ночь». Или нет! Надо, чтобы покрасивше было... Вот лучше: «Ночная сказка» или «Ночная звезда»... Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое, ну, звезды там или туман над рекой... А в музыке я все могу, на сердце щемит у меня, лягу спать — не сплю, а засну — часто такая музыка играет! Проснусь — все хочу вспомнить, и не вспомнишь...

Учиться надо, это уж обязательно! Я лебедчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижу я, рычагами кручу, зазвенит лебедка или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит, а я тренируюсь, звуки определяю, какой звук: «до» там или, может, «фа-диез»...

Семен замолчал, улыбнулся и стал поправлять костер. Неожиданно что-то странное и мощное родилось в воздухе, родилось, нарушило ночную глушь, всколыхнуло настоявшуюся звездную тишину, пронеслось по реке.

— Эге-геее... — донесся к нам низкий могучий вопль. Мы сразу повернулись к реке и первое мгновение недоуменно прислушивались. Тишина... И опять незримо пролетел мощный крик:

— Эге-геее...

— Сплавщики голос пробуют! — облегченно засмеялся Семен. — Правда здорово? По реке звук далеко разносится. Лодка ночью плывет, так за версту слыхать, как весла скрипят. А то в другой раз такое послышится, что и не поймешь, что такое. Вроде крикнет кто или вздохнет, или вот так тихонько: «тииу, тииу, тииииу»...

Он очень похоже изобразил странный звук, который и я часто слышал ночью на берегу рек и болот и никак не мог догадаться, что бы это значило.

— Лешка боится, а я нет, — улыбнулся Семен. — Скучно, правда, одному, а так — хорошо!

— Никого я не боюсь! — сказал вдруг громко Леша и прищурился.

— Не боишься? А ну-ка, сходи сейчас на Хлыстово болото, принеси мне оттуда метелок. Ну? Сходи, сходи!

Леша повел ртом, оглянулся назад в темноту и засмеялся. Семен помолчал немного.

— Народ здесь сильный ужасно, — снова начал он. — Есть ребята силы такой, что хоть кого хочешь побьют. Вы думаете, этот сплавщик по делу кричал. А он просто так: на берег выйдет и орет, слушает, как его голос по лесам раздается.

— Дядь, а дядь! Стрельните! — попросил внезапно Леша и жадно посмотрел на мое ружье.

— А ты сам стрельни, — ответил я, подавая ему ружье.

— Баловство! — недовольно сказал Семен. — Только патрону перевод.

Но в глазах его зажглось такое же, как и у Леши,

острое любопытство. Леша огляделся, увидел высокий осиновый пень невдалеке и через секунду уже старательно укреплял на этом пне свою старую шапку.

— Погоди! — строго остановил его Семен. — Сейчас огонь раздуем, виднее будет.

Он навалил на костер хворосту. Пламя померкло, пополз густой розовый дым, потом тонкие голубоватые язычки стали там и сям выскакивать наверх, наконец, сразу занялась вся куча.

— Давай! — скомандовал Семен и, отгородившись от огня ладонью, уставился на пень с шапкой.

Леша стал целиться. Целился он страшно долго, шмыгал носом, переводил дыхание, смотрел на курок, на палец... Ожидание выстрела становилось тягостным, и я заметил, как напряглась у Семена рука, а глаза прищурились, будто он смотрел на яркий свет.

— Да скоро ты... — не выдержал он.

Но в этот момент ружье в руках Леши подбросило вверх, сверкнул длинный голубоватый сноп пламени, оглушительно бахнул выстрел, шапка исчезла, а эхо пошло перекатами по реке и лесам. Наверху испуганно всхрапнула лошадь, зазвенело ботало, затрещали кусты. Леша бросил еще дымившееся ружье и стремительно кинулся в темноту.

— Здорово! — восхитился Семен и потянулся навстречу Леше, возвращавшемуя с шапкой. — Вот это бьет!

Шапка была торжественно исследована при свете костра. В нее попало несколько крупных дробин, и вата клочьями торчала из подкладки.

Семен задумался.

— Знаете что? — обратился он ко мне. — Хотите, поведу я вас на такое место, в каком отродясь никакие охотники не бывали? Возьму отгул, у дяди ружье выпрошу, эх, и закатимся мы с вами дня на два! Тайное место, птица там непуганая. Идешь по лесу — направо рябчики, тетери, глухари, налево — озеро, а на том озере гуси и крякуши открыто плавают и на выстрел допускают близко, а после выстрела никуда с озера не улетают, только отлетывают малость. Там я был один раз с дядей и дорогу туда помню. Никого там нету: ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смирные, из-за кустов поглядывают. А брусника там растет такая, что ежели выйти на гарь да

поверху кочек глянуть, то все кочки кажутся красными Земляника растет, и землянику ту никто не берет, и вся она черная, переспелая и такая сладкая — слаще сахара! Войдешь в смородиновые кусты — такой в них крепкий дух, что голова кружится. А ежели по кустам идешь то тетери и глухари совсем близко подпускают, а потом только — тых, тых, тых! — взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Еще там белки в лесу скачут, только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьем. А еще там под косогором, ежели через завалы перебирешься, овраг перелезешь да вниз спустишься, родник есть, ключ по-нашему, и сколько я разной воды перепил, но такой никогда не пил, и вода там, надо думать лечебная...

Леша тем временем все крепился, крепился, не выдержал, жалко скривил лицо, шмыгнул носом и затянул отчаянно:

— Семе-ен...

— Ну? — Семен с удивлением посмотрел на брата.

— Семен, возьми меня-я... — тянул Леша, и было видно, что страдает он невыносимо.

— Как? Взять? — с сомнением спросил меня Семен Большие мокрые глаза Леши тотчас уставились на меня. Я задумался. Я думал долго и мрачно.

— Взять? — снова с сомнением повторил Семен критически осмотрел Лешу. Тот покривился и крепко сжал задрожавшие губы.

— Возьмем! — решил я наконец.

Леша тихонько засмеялся, вскочил и вытер длинным рукавом глаза.

— Ага! — торжествующе закричал он. — А вот пойду, а вот и пойду.

И он, победоносно глядя на Семена, стал приплясывать возле костра, на разные лады повторяя: «Что? А вот и пойду! Что? А вот и пойду!»

* * *

Я оглянулся. Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. Пала роса, и воздух посвежел. Деревья определились. Нет, света еще не было, но с каждой минутой все виднее становились отдельные кусты, ветки елки, даже шишки. Ночь кончилась, наступал самый

ранний полурассвет, то время утра, когда петухи в деревне, хрипло прокричав свое «ку-ка-ре-ку», еще крепче засыпают.

Мне пора было идти. Я взял ружье и попрощался с ребятами.

Едва я отошел от костра, как сырой холодный воздух охватил меня со всех сторон и сапоги заблестели от росы. Сорока неслышно сорвалась с вершины белесой ели, быстро и молча полетела, ныряя на лету, на восток, навстречу рассвету.

Я успел уже порядочно отойти — взобрался на гриву, отыскал тропу и зашагал к озеру, когда меня опять настигла песня Семена. И снова не разобрать было слов, не уловить мелодии, но я знал теперь, что песня эта прекрасна и поэтична, потому что рождена чистым талантом, красотой меркнущих звезд, великой тишиной и ароматом увядающего лета.

«Аааа...oooaa...» — дрожал далекий человеческий голос, а внизу подо мной сонно журчала река, тихонько стукались друг о друга плывущие по воде бревна, и мне казалось почему-то, что на реке, скрываясь в полупрозрачных завитках тумана, тихо сидит в лодке мудрый человек и стукает обухом топора по плывущим мимо бревнам, стараясь по звуку угадать их крепость и чистоту.

МАНЬКА

Посвящается
К. Г. Паустовскому

1

От Вазинцев до Золотицы — тридцать верст. Дороги нет, идти нужно по глухой тропе, зарастающей мохом, травой, даже грибами. Маньке кажется иногда: не ходи она каждый день с почтой по этой тропе, все бы давно заглохло — блуди потом по лесу!

Манька — сирота.

— Батюшка в шторм потонул, — говорит она, опуская глаза и облизывая губы острым языком, — а матушка на другой год руки на себя наложила. Порато тосковала! Вечером раз вышла из избы, побегла по льду в море, добегла до полыньи, разболоклась, одежу узелком на льду сложила и пала в воду...

И покраснев, невнятно договаривает:

— У меня матушка дикая была!

Дикость какая-то, необычность, есть и в Маньке. Дремучесть, затаенность чувствуется в ее молчании, в улыбке, в опущенных зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разглядывала провожавших такими лениво-дерзкими и странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели — пугались.

Года полтора уже работает Манька письмоносцем. В свои четырнадцать лет она прошла так много верст,

что, наверное, до Москвы хватило бы. Но работой своей она довольна. Дома неприглядно, пусто, скучно: скотины нет, сквозь давно не чиненную крышу повети глядит небо, печь полгода не топлена.

Худая, высокая, голенастая, ходит она легко и споро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы, краснеют, а потом темнеют ноги и руки, лицо истончается, худеет, и еще зеленей, пронзительней становятся глаза. Дует в лицо ей ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто пенящихся, зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты. Или, отдыхая в тени старых, серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой.

Легко, сладко, вольно ходить ей, когда мало почты. Но иногда приходит много посылок, бандеролей, журналов. Тогда надевают за спину Маньке большой пестерь и плотно, тяжело нагружают его.

— Ну как, девка? — кричит тенором начальник почты. — Ну как? Дойдешь ли? Может, за лошадью послать?

— Ничего... — сипло отвечает Манька, розовеет лицом и шевелит лопатками, поудобнее устраивая пестерь.

Уже через версту начинает ломить у нее спину и тяжелеют ноги. Зато сколько радости в эти дни у рыбаков на тонях. Какое оживление приносит она, как медленно, старательно, с каким смехом заполняются квитанции и как любят рыбаки Маньку в эти дни!

— А ну, девка! — кричат ей. — Скидавай пестерь-то, поспеешь еще... Садись-ка с нами уху хлебать! Митька, ложку!

И кидается какой-нибудь белобрысый Митька со всех ног в чулан за ложкой, торопливо обтирает ее полотенцем, с шутливым низким поклоном подает ее Маньке.

— Семужки, семужки ей поболе! — покрикивают с разных сторон. И краснея, опуская глаза, Манька садится и ест, стараясь не глотать громко, с благодарностью чувствуя доброжелательность, заботу и любовь к себе рыбаков.

Зато с газетами и письмами идти хорошо, не режут

плеч лямки пестеря, чего только не насмотришься в дороге, о чем не надумаешься! В три рыбачьих тони нужно зайти Маньке по дороге в Золотицу. Каждый раз ждут ее там с нетерпением, и она не обманывает ожидания: вовремя зайдет, попьет чаю, расскажет новости, отдаст почту, к вечеру приходит в Золотицу и ночует там. А утром идет к себе в Вазинцы, захватывая обратную почту.

2

Первая от Вазинцев тоня называется Вороньей. Жили там четверо рыбаков со стряпухой, а с лета, когда ночи стали золотеть, прибавился пятый — Перфилий Волокитин. Черноволосый, стриженый, с крепким маленьким лицом, он по весне демобилизовался, месяца два жил дома, хотел подаваться в город, переписывался с корешами, но вдруг загулял с Ленкой — самой красивой и озорной девкой в деревне, из-за которой не раз дрались в клубе ребята, — решил остаться и попросился на Воронью рыбаком. Принес он на тоню гармонь, часто играл, был постоянно и ровно весел, был по-солдатски четок, расторопен, охотно брался за самую трудную работу, а вечерами брился, подшивал к гимнастерке ослепительные подворотнички, чистил сапоги, надевал набекрень фуражку и уходил в деревню, в клуб, возвращаясь каждый раз чуть не на рассвете.

Был он силен и буен, ловок, неутомим в танцах, был находчив и насмешлив в разговоре, и Манька отдавая ему письма и газеты, стала вдруг краснеть и опускать глаза. Ночами, дома и в Золотице, стала она плохо засыпать — подолгу думала о Перфилии, вспоминала его лицо и голос, воображала с пылающими щеками, что живет она с Перфилием в высокой новой избе и все у них есть, а заснув, колотилась коленками в стену, бормотала во сне.

Она спала в Золотице в душной натопленной избе, где ночевали еще человек восемь — бригада плотников, — когда под утро ей приснился вдруг Перфилий. Ярок, необычен и стыден был этот предрассветный сон, и Манька сразу проснулась в сотрясшем все ее тело ознобе, широко раскрыла свои зеленоватые глаза, вскинулась и села, ничего в первую минуту не чувствуя, кроме

колотящегося сердца. Всхрапывали спящие на полу и на лавках плотники, тлела за потными окошками белая ночь, и неслышно давилась, всхлипывала Манька, внезапно понявшая, что любит Перфилия, содрогаясь от жалости к себе, к своему худому, детскому еще телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли, что пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только на рассвете сморенная, измученная, заснула она с мокрым от слез лицом.

И страшно стало ей после этой ночи подходить к тоне, боялась выдать себя, боялась грубого рыбацкого смеха, вздрагивала, холодела, увидев Перфилия, услышав его голос, сердце у нее падало, губы пересыхали и мягко ныло в груди.

Вся сомлев, полуживая, уходила она от Вороньей, понемногу прибавляя шагу, чуть не бежала, забиралась в глушь, падала лицом в сухой белый мох и долго сладко плакала от любви, от одиночества и непонятости. Несколько раз блудила она в лесу, шла куда глаза глядят, улыбалась, разговаривала сама с собой.

А иногда выходила к морю, садилась на камень, сжималась в комок, пригретая солнцем, смотрела на чаек, на сине-зеленую гладь моря, раскачивалась и бормотала: «Чаечки, чаечки! Донесите вы к нему мою любовь!» И вспоминалась ей, как сквозь сон, старая ее бабка, давно умершая, давно ушедшая из этого мира, вспоминались ее сказки, ее бормотанье по ночам, и приходили сами собой, уверенно выговаривались дикие и вещие слова: «Стану я, раба божия Манька, благословясь, пойду перекрестясь... Из дверей в двери... Из ворот в ворота́, выйду я в чисто поле... Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить, ни быть, и ни пить, и ни исть!» Жутко становилось ей, громко стучало сердце, потели ладони, и особенно желанным, особенно недоступно-красивым был для нее в эти минуты Перфилий!

Море было неподвижным и шелковистым, едва заметно поднималось и опадало, будто дышало. Небо затягивало легкими светлыми облаками, пряталось в них солнце, светило мутным пятном. А там, над горбатым голубым мысом, падали в море веерообразные бело-синие столбы света, и нестерпимо сияло, вспухало и как бы дымилось в том месте море. Лето стояло прекрасное, радостное, необычно теплое...

3

Однажды, уже в сентябре, Манька, еще более одичавшая за лето, подошла к тоне и настороженно остановилась. День выдался с утра ненастный, с ветром, с беспорядочным волнением на море. На рассвете прошел короткий крупный дождь, изба потемнела, приняла сразу осенний вид, скупо, бледно отсвечивала стеклами. Особенно много навалило на берегу в этот день водорослей, особенно много было на песке влажно-алых медуз, буро-желтых мелких звезд...

Вчера к вечеру попалось в ловушки много семги, сегодня в Вазинцах был престольный праздник, — стосковавшиеся рыбаки погрузили семгу в карбас и все вместе поехали сдавать ее на рыбоприемный пункт, а заодно попариться в бане, переночевать дома и погулять на празднике.

Поехал вместе со всеми и Перфилий, вечером пошел в клуб, послушал гармошку, сам немного и пренебрежительно поиграл, потом бросил, стал грызть подсолнухи, стал особенно громко острить, потом выпил с ребятами на улице, темные красивые глаза его начали косить, голос слегка охрип, он все больше возбуждался, расталкивал ребят и девок, враскачку входил в круг, закинув суховатое маленькое лицо, лениво прикрывая глаза, постукивал, поскрипывал хромовыми сапогами и равнодушно, под радостный гогот ребят и притворную ругань девок выпевал похабные частушки... И весь вечер хищно, трепетно следил за Ленкой, и что́ бы ни делал, — делал ради нее. А когда всех выгнали из зала, стали расставлять лавки и продавать билеты в кино, он крепко схватил ее за руку, вывел в сени, где хрустела под ногами подсолнечная шелуха и пахло уборной, прижал к стене и, все больше бледнея, кося глазами, зашептал:

— Пойдем к тебе... Что ж ты со мной делаешь? Пойдем, дома посидим...

— Дома я всегда насижусь, — пренебрежительно сказала Ленка, не глядя на Перфилия, жадно прислушиваясь к тому, что делалось в клубе.

— Не хочешь, значит? — с угрозой и бессилием спросил Перфилий, сотрясаясь и слабея, вдыхая запах пудры и волос Ленки. — Другого нашла? Смотри, не пожалела бы! Смотри, потрешь на кулак слезы...

— Пусти! — шепотом приказала Ленка, грубо и сильно рванулась и, не взглянув на Перфилия, ушла опять в клуб, сильно хлопнув дверью. А Перфилий впервые заметил, какая у нее раздражающе высокая грудь, какие жадные и крупные руки, какое жестоко-красивое лицо и как нагло, вызывающе покачивает она на ходу бедрами.

Он вышел на темную улицу, освещенную редкими фонарями, на бодрящий холод, отрывая пуговицы, расстегнул гимнастерку, снял фуражку и пошел домой, вздрагивая от ярости и стыда, крепко стуча сапогами по деревянным мосткам. Из дому, не слушая уговоров матери, захватив с собой бутылку водки, хлеба и сала, он спустился к морю, сел в карбас и через два часа был у себя на тоне. Он вошел, разгоряченный злобной греблей, зажег лампу, не присаживаясь к столу, налил стакан водки, выпил и сжал зубы, моргая, ероша отросшие за лето жесткие волосы. Потом вышел из избы, сел на бревне, закурил и долго смотрел в темноту, в холод моря, туда, где летом катился ночью по горизонту огромный тускло-багровый диск солнца и где теперь все чаще дрожали, зыбко светились и устало потухали голубые столбы северного сияния.

И когда утром, настороженная необычной тишиной, вошла в избу Манька, Перфилий спал на своей койке в углу, раскинув ноги, с заголившимся мускулистым животом, завернув голову телогрейкой. Услышав стукнувшую дверь, он проснулся, тупо посмотрел на Маньку, потер лицо.

— А! Пришла... — сказал он хмуро и сел к столу, обхватив голову руками. — Письма есть?

— Нету... — Манька опустилась на лавку, стыдливо поджала ноги и перевела дух.

— Нету! А чего принесла?

— Газеты, — Манька кашлянула и облизала губы.

— Газеты! — Перфилий мрачно посмотрел в окно. — Шторм будет! Как бы ловушки не сорвало... В деревне-то чего у нас? Уехали, суки, гулять им надо!

Он тяжело поднялся, пошел к ведру напиться, оглядывая съежившуюся фигуру Маньки.

— Чего это ты сегодня какая-то... — невнятно спросил он и, закинув голову, раздувая горло, стал пить.

— Какая? Никакая... — прошептала Манька, крас-

нея до смуглоты, наклоняясь, разглаживая платье на к
ленях.

— Одна живешь?

— Одна...

— Скучно одной-то, — без выражения сказал Перф
лий, глядя в окно.

— Живу... — Манька слабо двинула рукой, пошев
лила сухими губами. — Идти мне надо, — хрипло сказ
ла она, поднимая на Перфилия испуганный взгляд. Н
Перфилий не слышал ее — смотрел в окно и молчал.

— Шторм идет, — сказал он глухо. — Метеорист
чертовы!

Манька тоже взглянула в окно. Море за окном поте
нело, билось в берег, ветер посвистывал в вешала
Волны шли быстро, пенясь, налезая друг на друга, а
горизонту росла, приближалась черно-бурая широка
полоса.

— Шторм идет, а они, суки, пьянствовать поехали! -
горько и грубо повторил Перфилий, вспомнив Ленк
пошел за занавеску, стал натягивать брезентовые шт
ны и куртку.

— Куда ты? — спросила Манька обмирая. — Ку
ты? Ай утонуть хочешь?

— Куда! Ловушки в море стоят, выбирать надо! -
пробормотал Перфилий и вышел вон. Манька, пр
открыв рот, прислушивалась к ветру, потом глянула
окно на полосу, которая значительно расширилась
эту минуту, и опрометью выскочила вслед за Перф
лием. Ветер туго ударил ей в лицо. Перфилий возил
у карбаса, когда Манька подбежала к нему.

— Ну? — Перфилий недовольно повернулся к ней
не дожидаясь ответа, стал спихивать карбас по катка
к воде.

— Я с тобой! — сказала Манька и тоже уперла
плечом в карбас.

— Еще чего! Детский сад! — заорал Перфилий, ко
да карбас уже прыгал и бился по песку. — Пошла
избу!

— Не пойду! — Манька вцепилась белыми пальцам
в борт. — Чего я, моря не видала?

— Ну так прыгай! — весело вдруг и с какой-то о
чаянностью закричал Перфилий и оскалился. — Лез

Манька ловко вскочила в карбас, падая с борта н

борт, пробралась на корму. Перфилий, побагровев, оттопыривая зад, по пояс в воде, толкнул карбас, подпрыгнул, упал животом на борт, перевалился внутрь, схватил весла и стал заворачивать карбас на волну. Через минуту они уже ходко шли, поднимаясь и проваливаясь, к черным кольям ловушек, поставленных метрах в двухстах от берега. Манька сильно подгребала, слизывала с губ соленые брызги, ветер раздувал ее волосы. «Платок забыла! — думала она. — Ой потонем мы, ой ветер порато дует!» — и влюбленно глядела в закинутое, решительное, красное от напряжения лицо Перфилия.

Подошли к первой ловушке и с ходу, спеша, боясь даже глядеть на приближавшуюся черную полосу, стали вытаскивать колья и укладывать их вместе с сетью в карбас. Манька то подтягивала сеть, то выбрасывала черпаком воду. От воды у нее заломило руки и ноги, платье намокло и задралось, оголились пятнистые от холода крепкие узкие бедра, показался край розовых штанов. Маньке было стыдно, но она уже не могла выбрать минуту оправить платье. А Перфилий и не смотрел на нее, колья были вбиты крепко, он раскачивал их, карбас бросало, волны становились все выше, надо было спешить.

Минут через двадцать ловушка была снята, пошли к берегу. Карбас осел, Перфилий бешено греб, глядя на что-то, что приближалось с моря. Манька сидела лицом к берегу, подгребала, вычерпывала воду и боялась оглянуться.

— Стой! — дико заорал Перфилий. — На берег не выедем, кидай в воду, отсюда не унесет!

Выбросив ловушку, которую тотчас с ревом потащило на берег, они повернули опять в море. Теперь лицом к морю сидела Манька, полуживая от ужаса. Ни неба, ни облаков, ни моря вдали не было. Было что-то черное, туманное, бесстыдно, нагло возбужденное, взлохмаченное, и в черноте этой одни гребни волн холодно и жестоко белели. До второй ловушки еле добрались сквозь ветер. Перфилий выгибался, закидывался при каждом гребке, у Маньки подламывались руки...

И опять цеплялся Перфилий за колья, раскачивал их, опять ходуном ходил карбас, и когда поднимался, задирая нос, заваливаясь на бок, — голова и руки

Перфилия скрывались за бортом. Округлив от ужаса глаза, Манька видела тогда только его напряженный зад и раскоряченные ноги в мокрых блестящих сапогах. Выдранный из грунта кол прыгал вверх, Перфилий отваливался назад, втаскивая сеть в карбас. В этой ловушке было несколько семг, метались брусковатые сиги, но на них не обращали внимания.

Наконец подошел настоящий шторм, волны сразу покрылись пеной, полетела водяная пыль, от берега стал доноситься сплошной рев: там по песку шел чудовищный накат, доставая почти до тони. Море начало приобретать шоколадный цвет. Вторая ловушка была почти вся в карбасе, оставалось втащить только полотно правой стенки, когда карбас полез на волну, встал почти вертикально, падая в то же время на бок, перевернулся, и оглушенная, задохнувшаяся Манька оказалась под ним.

Она уже ничего не понимала в темноте, ей хотелось света, воздуха, хотелось увидеть Перфилия, а она стукалась головой о скамейки, тонущая сеть запуталась у нее в ногах, тащила за собой. «Господи! — гудело у нее в голове. — Мамочка, ой пропала я совсем, ой пропала!» Что-то шаркнуло ее по ноге, она брыкнулась, вцепилась в скамейку, прислонила лицо ко дну, — тут оставалось немного пахнущего рыбой воздуха, — и завыла. И опять, скользнув по ногам, схватили за бедра, за платье резкие злые руки, жестоко дернули вниз, Манька захлебнулась, давясь, уже по-звериному вырываясь, изгибаясь, — а ее все так же больно, грубо рвануло кверху, прижало к пузатому рубчатому боку карбаса: Перфилий, отплевываясь, заголяя напряженную, с выступившими позвонками спину, карабкался на киль, тащил за собой Маньку.

— Чего под карбасом болтаешься, дура! — счастливо заорал он ей в самое ухо, крепко прижимая ее к себе, держась за осклизлый киль. — Держись! К берегу несет, выплывем!..

Манька, мотаясь, кашляя, ничего не видя сквозь слезы, одной рукой вцепилась в киль, другой обняла Перфилия за шею и замерла, закоченела.

— Ничего! — весело, надсадно орал Перфилий, ерзая сапогами по днищу карбаса. — Живем!

По щеке его текла кровь. А море ревело, будто гро-

мадный буйный зверь, и будто зверь, поднимало, опускало на своей спине опрокинутый карбас, все ближе поднося его к берегу. Уже через полчаса, поблескивая круглыми боками, карбас плясал в ревущем прибое. Волной подхватывало его, выносило на берег, потом волна разбивалась внизу, а карбас, окруженный шипучей пеной, сначала медленно, затем все быстрее мчался назад, чтобы снова, поднявшись на волне, броситься на берег. Перфилий пытался подгребать ногами, ему становилось все страшнее, томительнее, он начинал думать уже, что никогда не выберутся они из полосы прибоя, из этих мутных, клокочущих, пузырящихся волн.

Внезапно все стихло, слышно стало шипение скатывающейся назад воды, а сзади послышался нарастающий гул, как от поезда. Перфилий оглянулся и чуть не выпустил киль: неслась на них зловещая, закрученная, поплескивающая сверху волна. Она ударила в карбас, который не успел взобраться на нее, перевернула его, понесла на берег, глухо хряпнула о песок, и последнее, что помнила Манька, — это как несло ее куда-то, ударяя лицом, спиной, локтями о песок, ломая, вывертывая руки и ноги.

Очнулась Манька на берегу. Перфилий стоял возле нее на коленях, приподнимая ей голову. Маньке стало стыдно, она оттолкнула Перфилия и села, оправляя платье, прикрывая заголившиеся ноги. Ее тошнило, голова кружилась, плавали в глазах мушки.

— Никак жива! — обрадовался Перфилий. — Полный порядочек! Погоди тут, я сейчас...

Он тяжело побежал по песку туда, где, как живой, приподнимался, ерзал в пене лоснящийся карбас, забрел по пояс в воду, поймал конец, поволок карбас на берег. Потом, снова забредя в мутно-белый шипящий раскат, ухватил ловушку и, наклонясь почти до песка, дрожа ногами, вытащил на берег и ее. Запыхавшись, хлопая голенищами сапог, мокрыми полами куртки, он вернулся к Маньке. Она еще сидела, не в силах подняться.

— Ну что ты! — притворно укоризненно и бодро сказал Перфилий. — Ничего, ничего... А ну, берись за шею! — крикнул он, нагибаясь, тревожно заглядывая ей в лицо.

Но Манька отвернулась и встала, качаясь как пьяная, со слабой виноватой улыбкой на белом лице. Они пошли рядом, Перфилий обнимал, поддерживал ее за спину, шаркая голенищами сапог, все больше оживляясь, загораясь, говорил, смеялся над собой, над Манькой, над штормом, будто не он минуту назад держался за киль, хрипло, надсадно орал, напрягался и со страхом глядел на волны.

4

В избе Перфилий растопил печку, стащил с себя все мокрое, переоделся, вынес штаны, свитер и куртку Маньке, ушел в сени и жадно закурил там, рассматривая дрожащие, в ссадинах руки.

— Скоро, что ль? — закричал он через минуту.

— Ой! Сейчас! — испуганно отозвалась Манька и заторопилась, с усилием стаскивая с себя прилипшие к телу платье и рубашку. Одеваясь в сухое, путаясь с непривычки в длинных штанах, она покосилась, потрогала свою еще чуть припухающую грудь, тяжело вздохнула.

— Ну? — опять крикнул Перфилий из сеней.

— Иди! — смущенно разрешила Манька, торопясь, опуская глаза, стесняясь мужской одежды, быстро вынесла вон все свое мокрое, выжала и развесила по ветру.

— Ну-ка! — встретил ее Перфилий. — Поди сюда! Сейчас лечиться будем по последнему слову науки и техники...

Он посадил Маньку за стол, на лавку, достал из-под койки начатую вчера бутылку водки, налил в стаканы ей и себе.

— Выпьем! — сказал он жарко, глядя ей в лицо. — Подымем стаканы, содвинем их сразу... Пей, пей! Это от простуды. С благополучным приземлением вас...

Он выпил первый, подышал открытым ртом и тотчас налил в кружки чаю. Манька тоже выпила, задохнулась, затрясла головой. Она быстро опьянела, зарозовела, зеленые глаза ее замерцали. Вся обмирая, ужасаясь, все больше, острее хотела она, чтобы обнял, поцеловал ее Перфилий. И Перфилий, взглянув на нее, вдруг замолчал и побледнел. Отодвинув кружку с чаем,

он встал, легким хищным шагом вышел из избы, быстро посмотрел в обе стороны: берег был пустынен. Он вернулся, напряженно сел, стал жадно, открыто разглядывать Манькино лицо с пылающими щеками, влажные еще, курчавившиеся волосы, опущенные золотистые ресницы, узкие плечи, уже понимая причину ее молчания, ее странности, опущенных глаз, хриплого голоса. Грозно, гулко шумело за окном море, а в избе было тепло, сухо, трещала печка, пахло рыбой.

— Тебе лет-то сколько? — быстро спросил он изменившимся голосом.

— Идти мне надо... — слабо сказала Манька, приподнимаясь, и тут же села.

— Лет-то сколько тебе, а? — опять спросил Перфилий, стараясь заглянуть ей в глаза.

— Шестнадцать... — соврала, прошептала Манька, отвернулась и почувствовала, как холодеют у нее руки и кружится голова. И вспомнила вдруг она, будто облитая холодом, свою летнюю тоску, свои слезы, весь стыд первой тайной любви, все отчаяние призрачных белых ночей — сладкий ужас охватил ее: сидел рядом Перфилий, смотрел на нее страшными глазами, сбывались ее сны! «Чего же это! — подумалось ей. — Ай он кинется на меня сейчас! Мамочка, чего же это!» — и дико глянула в лицо Перфилию.

— Эх! — вскрикнул он в блаженном отчаянии и, легко притворившись тоже диким, придвинулся по лавке к ней, схватил, запрокинул ее лицо и, перекосив глаза, жадно и долго поцеловал ее, бесстыдно шаря свободной рукой по ее щуплому телу. Манька обомлела, помертвела...

— Чегой ты! — вырвалась она. — Проклятый! Да ты чегой-то!

— Ну-ну... — смущенно забормотал Перфилий, поднимаясь и двигаясь к ней.

— Дурак! — чуть не плача, хрипло закричала Манька. — Своих лахудров целуй... А меня не трожь! Я... я тебе не кто-нибудь!

— Маня! Манюша... — уже растерянно, покаянно просил Перфилий. — Не шуми ты, я ж к тебе по-хорошему!..

— Я тебе не какая-нибудь! Ленку свою целуй! Я еще неце... нецелованная! — с усилием выговаривала Мань-

ка, вся трясясь, и вдруг отвернулась, прерывисто дыша, расстегнула куртку, бросила на пол.

— Уйди, проклятый! — сказала она низко. — Мне почту... почту надо...

Она переоделась, уже не боясь, что войдет Перфилий, дрожа от ярости и какого-то сладкого мстительного чувства, взяла сумку и, низко наклонив голову, не простясь с топтавшимся в сенях и курившим Перфилием, пошла.

Она отошла уже порядочно, когда, простоволосый, в опорках на босу ногу, догнал ее Перфилий.

— Вот тут у меня было... — забормотал он, суя в сумку ей шоколадные конфеты. — Это тебе на дорогу. Не обижайся, Маня... Простишь, а? А с Ленкой у меня все! — отчаянно и грустно сказал он. — Стерва она, гуляет...

— Уйди! — сказала Манька, глядя в сторону. — Отстань!

— В субботу в клуб придешь? — спросил Перфилий, быстро шагая рядом.

— Почта у меня, — по-прежнему глядя в сторону, сказала Манька.

— Ну в воскресенье! — не сдавался Перфилий. — Мне что-то сказать тебе надо... Приходи, Маня, а?

— Не знаю я, — помолчав, невнятно сказала Манька и ускорила шаг. Перфилий отстал.

«Как же! Так и приду, жди! — думала Манька, низко наклонив голову, слушая приглушенный расстоянием шум моря. — Дуру какую нашел... Чего я пойду? С конфетами... подлизывается!» Она запустила руку в сумку, нащупала конфеты, сжала, но не бросила почему-то, как сперва хотела, так и шла, сжимая конфеты в руке.

На повороте она оглянулась, будто кто-то толкнул ее в спину: Перфилий стоял на дорожке, на том месте, где отстал, и смотрел ей вслед. Увидев, что Манька обернулась, он поднял руку, и Манька сейчас же заторопилась, заспешила, еле удерживаясь, чтобы не побежать. А пройдя с полверсты, она низко пригнулась, настороженно осмотрелась, свернула в кусты, в золотисто-желтые березки, в мох и легла там, лицом на сумку. «Ах, да что ж это приключилось... Как же я теперь письма им буду носить!» — думалось ей. Лицо ее горело, голова кружилась, пахло ей Перфилием, его свежим, чистым, рыбац-

ким запахом, видела она близко его темные, шальные, перекошенные глаза, замирала, вновь переживая весь ужас, всю радость, весь стыд сегодняшнего дня. И уже весело, мстительно, томительно-уверенно звучали в ней все те же дикие и вещие слова: «Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть, и ни пить, и ни ись!»

НА ОСТРОВЕ

1

Рейсовый пароход, на котором приехал ревизор Забавин, низко, вибрирующе загудел и, разворачиваясь, заваливаясь на правый бок, пошел дальше к глухим северным становищам. А Забавин даже не оглянулся на него, — так надоел ему за трое суток этот грязно-белый пароход, грохот лебедок на стоянках, гул моторов, коротконогий капитан, старший помощник с наглым развратным лицом, грубые официантки и бесконечное пьянство внизу, в третьем классе, возле буфета.

Чем больше ездил Забавин по северу, тем привычней и скучнее ему становилось, и он даже перестал замечать красоту мрачных скал, красоту моря и северной природы; хоть когда-то очень все это любил. И теперь, в карбасе, раздраженный, злой, небритый, он не обращал внимания ни на странные очертания острова, похожего на сгорбившегося, уткнувшегося в воду зверя, ни на темно-зеленые камни под водой, ни на веселые разговоры вокруг, а хотел только скорее очутиться на берегу, в теплой комнате.

Когда карбас, пробравшись возле многочисленных катеров, мотодор и ботов, пристал к деревянному пирсу, Забавин первый выбрался на берег и остановился, разминаясь, с наслаждением чувствуя под ногами твердую землю.

На пирсе было тесно от громадных тюков высушенных сиреневых и бурых водорослей, от бочек с цемен-

том, труб, рельсов, пачками ржавеющих возле стен низкого склада. Пахло очень сильно и дурманяще сладко водорослями и послабее — рыбой, канатами, нефтью, досками, сеном, морем, — вообще всем тем, чем пахнут обычно морские пристани.

Зевнув, Забавин вяло пошел по утрамбованному шлаку мимо цехов с глухо работающими машинами, мимо котельной, от которой в холодном утреннем воздухе тянуло теплом. Кругом была унылая земля, покрытая белесым ягелем, с выпирающими там и сям буграми серого камня. Лошади и коровы одиноко бродили по ягелю, были худы, и на них, заброшенных на этот дикий остров и совершенно лишних, не нужных ему, жалко было смотреть. Забавин поморщился, вздохнул, спросил у рабочих контору, ему показали, и он пошел прямо туда, уже ни на что больше не глядя, думая только о том, как бы поскорее лечь спать — последнюю ночь на пароходе он почти не спал.

Ему отвели комнату, и он хорошо выспался. А проснувшись, побрился, смочил голову одеколоном и тщательно, до блеска причесался. Потом напился из тонкого стакана горячего крепкого чаю своей заварки и с удовольствием выкурил папиросу. Наконец, достав папку с документами, затянув галстук, радуясь тому, что он и здесь хорош, опрятен и чист, что он избавился на эти дни от противного запаха соленой трески, который осточертел ему на пароходе, щеголеватый, бодрый и свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком, он пошел в контору, чтобы уже по-настоящему заняться тем, из-за чего он приехал сюда.

Весь этот день и два следующих Забавин провел в педантичной работе, проверяя документы, которые в толстых папках носили ему в кабинет, занимаясь сложными вычислениями, осматривая чаны с агаровым студнем, дробилки, склады и лаборатории. И все это время он был холоден, вежлив и деловит, тогда как директор, радуясь свежему человеку, суетился, болтал, жадно расспрашивая Забавина об Архангельске. В ермолке, с выпученными глазами в вывороченных веках, с глубокими складками на сизых мясистых щеках, директор всюду сопровождал Забавина, колыхаясь, тяжело ступая своими тумбообразными ногами, мучаясь одышкой и потея. Рядом с огромным, безобразно толстым директором

Забавин — худощавый, черноволосый, в модных узких брюках, — казался подростком. Директор говорил, что скоро уходит на пенсию, читал дрожащим голосом стихи Фета, грустно глядя на море, звал Забавина закусить «чем бог послал», и глаза его при этом наполнялись слезой. А Забавин чувствовал на себе откровенно жадные взгляды молодых работниц и делался все холоднее и вежливее.

2

Однажды Забавину понадобилось послать телеграмму в Архангельск, и он пошел на метеостанцию. Он отыскал ее без труда по высокой радиомачте, от которой во все стороны к земле были туго натянуты тросы. Поднявшись на крыльцо, Забавин постучал. Ему никто не ответил, тогда он отворил дверь и вошел в дом. Он попал сразу в чистую, большую, теплую и пустую комнату с крашеным полом, столом у окна и анероидом в длинном деревянном ящике. На столе лежал хронометр в бархатном футляре, бинокль и несколько раскрытых журналов. Из комнаты было еще три или четыре двери, одна из них вдруг распахнулась, и выглянул паренек-радист. Он был молод и самонадеян, с тонкой кадыкастой шеей, с большими ушами и с прической на лоб. Увидев Забавина, он сделал подозрительное лицо.

— Вы кто будете? — испуганно спросил он, стараясь говорить строже и не зная, куда девать большие свои руки. И недослушав Забавина, грубо выговорил, краснея и хмурясь, что начальника метеостанции сейчас нет, что без нее он ничего не принимает для передач и что радиосвязь с Архангельском будет только вечером.

Забавин улыбнулся, сказал, что зайдет вечером, чувствуя затылком недоверчиво-испуганный взгляд радиста, вышел на крыльцо и, радуясь хорошей погоде и свободному времени, пошел побродить по острову.

Он поднялся к белой башне маяка и, оглядевшись, заметил впервые, как красиво море, как горит оно и туманится под солнцем. Возле маяка он набрел на деревянную заколоченную часовенку, а немного пониже нее заметил старое кладбище. Он пошел туда, вздыхая, стал бродить между осевшими могильными холмиками и вросшими в землю темными плитами. На одной плите

Забавин с трудом разобрал: «Под сим камнем покоится прах р. б. Смоленской губернии города Белой подпоручика и смотрителя маяка Василия Иванова Прудникова. Жизни его без перерыва было 56 лет. Преставился после путешествия на Соловец монастырь 1858 года Сентября 6-го дня. Господи, прими дух его с миром».

«Н-да... — подумал с некоторой грустью Забавин. — Сто лет прошло... Сто лет».

Он попытался еще что-нибудь прочесть, но другие плиты были еще старее, вовсе поросли мохом, и ничего нельзя было разобрать. Тогда Забавин сел на одну из плит лицом к морю и долго сидел неподвижно, поддавшись грустному очарованию осени, забытого кладбища, думая о тех, кто жил здесь, может быть, не одну сотню лет назад. Потом медленно, в глубокой, приятной задумчивости спустился вниз и пошел к себе спать.

Но спалось ему плохо, он скоро проснулся и сел к окну. Пока он спал, к острову подошел туман. Туман был очень густ, и ничего не стало видно кругом. Скрылись радиомачта, маяк, длинная темная корга, скрылись цехи и трубы завода. Козы собрались в кучу под окном и стояли неподвижно. Жизнь на острове, казалось, прекратилась, туман поглощал все звуки, только на севере, не умолкая, гудел ревун, и звук его был печален и зловещ.

После того как побывал Забавин на кладбище, у него зародилось странное чувство к этому острову, и смотритель маяка, живший и умерший сто лет назад, когда здесь, наверное, было еще мрачнее, не выходил у него из головы. И от тумана, от диких воплей ревуна, от вида неподвижных коз ему стало не по себе, захотелось разговора, людей, музыки... Он скоро собрался и пошел на метеостанцию, настороженно оглядываясь, с трудом находя дорогу в тумане и наступающих ранних осенних сумерках.

Начальником метеостанции была девушка лет двадцати шести с редким именем Августа. Она была маленькая, с тоненькими ножками, коротко пострижена, и от этого с особенно нежной, слабой шейкой, с круглым смуглым личиком и большими, мохнатыми от ресниц глазами, которые удивительно одухотворяли ее лицо. Все на острове звали ее просто Густей. Когда она улыбалась, щеки ее вспыхивали жарким румянцем, тотчас

розовели и маленькие уши. При взгляде на нее Забавину стало умиленно и щекотно на душе, захотелось обнять ее, погладить короткие пушистые волосы, ощутить на шее у себя ее слабое теплое дыхание...

Отдав радисту текст телеграммы, прямо и твердо глядя на Густю темными блестящими глазами, он попросил разрешения посидеть, послушать радио. Густя быстро, охотно и, как показалось Забавину, радостно повела его к себе, в свою маленькую комнату, зажгла настольную лампу и пошла ставить чай.

Пока она, все больше волнуясь, доставала чашки, пока тонкими руками расставляла их на столе, позвякивая ложками, сыпала сахар в сахарницу, Забавин сел, одергивая свои задирающиеся узкие брюки, кладя по привычке ногу на ногу, включил приемник, засветившийся сумеречным гранатовым светом, поймал какую-то близкую норвежскую станцию, закурил и сморщил губы от наслаждения.

С необычайной пристальностью разглядел он вдруг во всех подробностях и милую хозяйку, и эту крохотную комнатку с одним окном на юг, с десятком книг на этажерке, ковриком и узкой, тщательно застеленной и, по-видимому, жесткой кроватью... Ему вспомнилась откровенная жадность, с которой смотрели на него работницы в цехах, и, чтобы не улыбнуться, он стал думать об острове, о кладбище, о том, что за окном — темнота и туман. Но странно, теперь эти мысли не тревожили, не угнетали его, наоборот, с тем большим наслаждением слушал он стеклянно-прозрачную музыку, треск печи в большой комнате, следил исподтишка за хозяйкой.

— Изумительно! Вот не думал, не гадал, что меня ждет такой вечер! — звучно и весело заговорил он. — Знаете, ездишь, ездишь — и всегда кипяток, черствые серые булки, одиночество — хоть жену бери с собой! В кои веки повезет, как сегодня...

— А! — произнесла Густя, опуская глаза. — Вы женаты? Давно?

— Давно! — с некоторой грустью ответил Забавин. — И дети есть, двое... Ужасно! Никак не могу привыкнуть к тому, что я женат, что мне тридцать шестой год, быстро как-то все идет... Когда едешь один или сидишь вечером в какой-нибудь комнате для приезжих, все думаешь:

давно ли мечтал о любви, о каком-то необыкновенном счастье — и вот ничего, и мотаешься по свету, ревизуешь, отвыкаешь от семьи... Но жена у меня — хороший человек, другие хуже живут.

Забавин вдруг перехватил странный взгляд Густи, спохватился и покраснел.

— Простите... — пробормотал он, проникаясь внезапным отвращением к себе. — Что это я? Вам не интересно, а меня прорвало: молчал целую неделю и такой прекрасный вечер...

— Ничего, пожалуйста! — торопливо отозвалась Густя и грустно улыбнулась. — Хорошо, хоть не жалуетесь...

— А что?

— Обычно мужья не любят своих жен в командировках, — уже насмешливо сказала Густя, наливая Забавину чай. — Пейте!

Забавин засмеялся, взял чашку. Они разговорились, и он скоро узнал, что она давно работает здесь, получает уже по договору двойную ставку, что она скучает, хочет уехать в Архангельск или в Ленинград. Поговорив о скуке, перебрав общих знакомых, заговорили о любви и счастье, и оба еще больше оживились.

— Вот вы говорите о сознательной любви, — вдруг серьезно и горько сказал Забавин, хоть Густя вовсе не говорила о сознательной любви. — Все рассуждают о любви, говорят и решают, и судят, кому кого любить. Писатели пишут о любви, читатели устраивают конференции и спорят, достоин ли он ее или она его, кто из них лучше, чище и сознательней, кто более подходит веку социализма. А между тем каждый из нас на своем месте никогда не может разобраться в том, что такое любовь! И чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что в любви очень малую долю играют такие качества, как ум, талант, честь и прочее, а главное — совсем другое, что-то такое, о чем не скажешь и чего никак не поймешь. Да что далеко ходить! Я знаю одного парня — дурака, пьяницу и наглеца, человека без чести и совести. И — представьте, его очень любят женщины, причем женщины умные, интеллигентные. И он знает, что его любят, занимает у них деньги, пьет, относится к ним по-скотски, и они плачут от обиды, я сам видел! Почему?

— Наверно, вы не замечаете в нем того, что замечают эти женщины, — серьезно сказала Густя.

— А! Что они в нем замечают! Ум? Талант? Широту души? Так нет же, дурак он, наглый, ленивый! И не лицо даже у него, а заплывшая морда! Убей меня бог, не пойму!

В комнате радиста попикивало, стучал ключ, наконец, все смолкло, послышались шаги.

— Ну, я все принял и передал... Сводки на столе! — крикнул радист и хлопнул наружной дверью. — На завтра — «ясно»! Я в клуб прошвырнусь! — крикнул он уже с улицы, затопал по крыльцу, и в доме стало тихо.

Выражение лица Густи сразу изменилось, она как будто чего-то испугалась, оглянулась на темное окно, пристально, серьезно посмотрела на Забавина и тотчас, покраснев, опустила глаза. А Забавин, будто не было ему тридцати пяти лет, не было позади ни армии, ни жены, ни детей, ни работы — почувствовал внезапно колющее, щекочащее волнение и сухость во рту, то есть то именно, что чувствовал он в молодости, когда влюблялся в девочек-школьниц и целовался с ними в тихие белые ночи.

— И еще тоже счастье... — начал тихо Забавин, и по тому, как он это сказал, Густя поняла, что он скажет сейчас что-то серьезное, хорошее, успокоилась и улыбнулась ему, расширяя и останавливая на его лице прекрасные бархатистые глаза.

— Надеются обычно на будущее, — продолжал быстро Забавин, прихлебывая чай, ощущая темноту за окном и холодное дыхание моря. — Надеются на будущее и живут мелко, суетливо, неинтересно... Живут, не замечая, не видя рядом ничего хорошего, ругают жизнь, уверенные в том, что вот настанет пора и придет счастье. Все так, и вы так, и я... А между тем счастье у нас во всем, везде, счастье, что вот мы с вами сидим и пьем чай, что вы мне нравитесь, и вы знаете, что нравитесь...

Забавин запнулся, передохнул, улыбнулся как бы сам над собой, а Густя, вся пунцовая, не смела поднять глаз.

— Хочется, чтобы пришел кто-то сильный, мудрый и заставил нас всех оглянуться. Ведь чем дальше, чем больше мы живем, тем счастья меньше! Человечество

всегда юно, но мы-то, мы стареем... Мне сейчас тридцать пять, вам...

— Двадцать шесть, — прошептала Густя, решилась поднять пылающее лицо и прямо взглянула в глаза Забавину.

— Ну вот! А через год мне будет тридцать шесть, вам двадцать семь — мы оба и все тоже постареем на год, что-то от нас уйдет, какая-то частица бодрости, какое-то количество клеток отомрет навсегда, а там еще и еще, из года в год... И главное, будет стареть не только тело, не только мы будем седеть, лысеть, у нас будут появляться разные болезни, которых теперь нет, но и души будут стареть, понемногу, незаметно, но будут — какое же тут счастье? Нет, счастья в этом никакого нет, и я не понимаю людей, которые все ждут: вот придет лето, и я буду счастлив, а когда приходит лето и он несчастлив, он думает: вот настанет зима, и я буду счастлив... Да что говорить!

— В чем же счастье? — тихо спросила Густя.

— В чем? Я тоже думаю: в чем? Вы вот хотите вырваться с этого острова, ждете чего-то, думаете, пройдет год, два, три — и я буду счастлива! Нет же! Вы сейчас именно счастливы, безмерно, громадно счастливы, потому что ничего у вас не болит, вы молоды, у вас прекрасные глаза, потому что теперь, когда вам двадцать шесть, смотреть в ваши глаза — наслаждение, и у вас важная работа и море, и этот остров... Подумайте!

— Легко говорить! — сказала Густя, недоверчиво улыбаясь.

— Да! Конечно, свет велик, прекрасных мест множество и, в конце концов, почему именно остров! Конечно, Архангельск — место куда более интересное, чем этот остров. Когда вы думаете, да и я когда сейчас думаю об Архангельске или Москве или Ленинграде, нам представляются театры, огни, музеи, выставки, шум, движение и все такое... Жизнь, одним словом! Правда? А между тем, когда я там, дома, я ничего этого не замечаю, я начинаю думать об этом только издали, а когда я приезжаю в Архангельск, я вдруг узнаю, что у меня заболел сын, что на работе вечером совещание, что торопят с отчетом... И начинаешь крутиться, как белка в колесе, вовсе не видишь никаких театров и прочего. Чем же я лучше вас живу? Так сказать, в высшем смысле?

Нет, нет, вы гораздо счастливее меня: вам двадцать шесть, а мне тридцать пять!

Конечно, вы уедете рано или поздно, будете жить в Ленинграде, видеть Неву, мосты, Исакий... Но, поверьте мне, когда вы уедете отсюда, вам обязательно будет вспоминаться этот остров, жители его, море, этот запах водорослей, перистые облака, солнце, грозы, северное сияние, шторма, и через много лет вы поймете, что счастливы вы были именно здесь.

— Не знаю, — задумчиво сказала Густя. — Я об этом как-то не думала...

— Да, почти всегда так. Мы жалеем об ушедшем. — издали лучше видно.

Забавин волновался и, глядя на Густю, думал помимо воли, как было бы хорошо, если бы он был женат на ней. Он расстраивался от этих мыслей, понимая их неуместность, понимая свое бессилие что-нибудь изменить в своей жизни, но не думать об этом не мог и не мог никак уйти от Густи, хотя было уже поздно.

Он собрался уходить тогда только, когда вернулся из клуба радист, прошел к себе, стал ловить джаз и насвистывать. Густя вышла с Забавиным на крыльцо, и они долго стояли, привыкая к темноте.

— Я провожу вас, а то здесь тросы натянуты, — сказала Густя и взяла его за руку. Рука ее была шершава, горяча и дрожала. «Милая, добрая!» — мысленно поблагодарил ее Забавин, и тут же с грустью подумал о себе.

Туман разошелся, ревун давно умолк, над головой горели маленькие пронзительные звезды и тек млечный путь, разорванный, раздвоенный, но ясный. Быстро освоившись с темнотой, Густя пошла впереди, а Забавин шел сзади, еле различая ее светлый платок, неуверенно нащупывая среди мха каменистую тропу. Прошли несколько минут в молчании, потом Густя остановилась, и Забавин тотчас увидел внизу редкие желтые огоньки поселка.

— Ну вот... — сказала Густя. — Теперь вы сами дойдете, не заблудитесь. До свиданья.

— Погодите еще немного, — попросил Забавин. — Я покурю.

— Хорошо, — подумав, ответила Густя, опять взяла его за руку, прошла несколько шагов и остановилась возле какой-то ограды, прислонясь к ней и поверну-

шись к Забавину лицом. Забавин закурил, стараясь разобрать выражение лица Густи при свете спички, но ничего не разобрал.

Внизу мерно шумел прибой, шел прилив, холодило. Ветер нес особенно грустный запах осеннего моря. А само море было глубоко и таинственно-черно.

Забавин внезапно заметил, что лицо Густи то бледно возникает, то пропадает в темноте. Он оглянулся и через три-четыре секунды увидел высокую белую звезду маяка, окруженную сиянием, вспыхнувшую на мгновенье ярким светом в ночи и снова погасшую. Потом звезда опять вспыхнула и погасла, и так повторялось все время, и было странно и приятно видеть этот мгновенный немой свет.

Забавин опять повернулся к Густе.

— Вы прекрасная девушка, — шепнул он грустно и нежно и, стыдясь себя, как бы видя себя со стороны и осуждая, нагнулся и крепко поцеловал ее в неподвижные холодные губы.

Ничего не сказав, Густя отвернулась от него, такая маленькая, такая родная и одинокая, что у Забавина перехватило горло. Он обнял ее за худенькие плечи и повел в темноту, в какие-то шуршащие кусты и мелкорослые жесткие деревья с терпким запахом осени, по мягкому моху, сквозь который чувствовался твердый, холодный камень, — дальше от света маяка. Наконец они остановились: впереди была глухая тьма и гул моря.

— Зачем, зачем? — печально сказала она. — Вы меня совсем не знаете! А главное — зачем?

А он стал снова целовать ее лицо и руки, зная уже, что это и есть то счастье, та любовь, о которой они говорили недавно.

— Не надо больше, пойдемте назад, — тихо попросила она.

— Не сердитесь! — так же тихо сказал Забавин и покорно пошел за ней. У ограды, где они поцеловались в первый раз, Густя вдруг остановилась, всхлипнула и прижалась лицом к холодному плащу Забавина.

— До завтра, — сказала она, наконец, вытирая слезы и вздыхая. — Я теперь не буду спать всю ночь... Зачем, зачем все это?

Оттолкнув его, она быстро пошла, почти побежала домой, а Забавин долго еще стоял и смотрел то на

вспышки маяка, то на далекий теплый свет в окне Густи. Лицо его горело, в горле першило, и он все покашливал, не в силах уйти, и сердце его билось медленно и тяжело.

3

Пароход, на котором Забавин собирался уезжать в Архангельск, должен был зайти на остров через неделю. Впереди было семь невозможно прекрасных, счастливых дней! Но на другой день утром в контору, где работал Забавин, пришел радист с метеостанции и молча подал ему радиограмму. На бланке валкими, неустановившимися строчками было написано: «Срочно ждем Архангельске тчк Парохода не ждите зпт сегодня или завтра остров зайдет шхуна Сувой тчк Максимов».

Забавин похолодел. Радист ушел. Забавин хотел продолжать работу, но уже ничего не понимал, что ему говорили, не помнил никаких цифр. Кое-как справившись с делами и подписав последние документы, он отметил командировку у директора и пошел домой.

А вечером, когда Забавин, тщательнее обычного побрившись и причесавшись и затянув холодеющими пальцами галстук, собрался последний раз к Густе, к острову подошла шхуна. Она появилась внезапно, как судьба, и о ней узнали по короткому вою сирены, по огням — зеленому и белому — на мачтах и по радиограмме, которую приняли сначала на маяке, потом на метеостанции. Забавин, волнуясь, послал ответную радиограмму, и шхуна осталась на якоре до утра.

До двух часов ночи Забавин и Густя ходили по острову, вспугивая куропаток, которые взлетали со странным глухим шорохом, сидели на шершавых камнях, прижавшись друг к другу, любя друг друга все сильней и больней, и все время им светили огни на шхуне, напоминая о скорой разлуке.

Потом они пришли на метеостанцию, и опять сумрачно, гранатово светился радиоприемник, играла слабая музыка, бормотали дикторы, опять они пили чай, говорили, наглядывались друг на друга, и не могли наглядеться...

— Что это у нас? — спрашивала Густя. — Это счастье? Скажите!

— Да, да... Счастье! — горько отвечал Забавин.

— Боже мой! — говорила она, и в глазах ее стояли слезы.

А Забавин готов был теперь бросить все — семью и работу — и остаться здесь навсегда. Но в ту же минуту он понимал, что это невозможно. Понимала это и Густя, и им становилось еще тяжелей. Так проходила их первая и последняя ночь.

Занялся неохотный скупой рассвет. Окно в комнате побелело. Забавин встал, мельком взглянул в зеркало, увидел свое бледное, удлиненное, испуганное, несчастное и страдающее лицо, подошел к окну, протер рукой запотевшее стекло. Небо было светло-голубое, пустое, будто стеклянное, море — огромное, выпуклое и спокойное, а метрах в двухстах от берега, как наваждение, неподвижно стояла черная шхуна на якоре, и на мачтах еще горели бледные огни. Куда хватало глаз, все застыло — на берегу и на воде — было тихо, неподвижно, безлюдно и мертво. Внезапно из-за камней появилась крупная темная собака, деловито пробежала мимо, держа хвост на отлете, и вид ее был столь неожидан, что Забавин вздрогнул.

Он отвернулся от окна и взглянул на Густю. Она сидела у стола, прижав руки к груди, где сердце. Глаза ее были закрыты, маленькое бледное личико казалось спокойным, как у спящей. Забавин осторожно оделся, шурша и похрустывая плащом. Потом, подумав, вынул из чемодана одеколон, капая на пол, налил в горсть и крепко вытер лицо.

— Густя... пора, — сказал он сипло и стал закуривать.

— Что, уже? Подождите! Я сейчас... я вас провожу! — заторопилась Густя.

Забавин опять повернулся к окну, сгорбился, слушая, как прерывисто дышит, ходит по комнате Густя.

Вместе вышли они на крыльцо, Забавин вдохнул холодный резкий воздух, поежился, посмотрел на разгоревшуюся зарю, на седой от инея мох. Они пошли рядом, но не по тропе, а прямо к морю. Мох хрустел у них под ногами. Опять появилась собака, хрупая, побежала за ними.

Был отлив, карбас на бревнышках оказался далеко от воды. Они долго сталкивали его, раскраснелись,

запыхались, наконец, влезли и оттолкнулись от берега. Забавин взялся за весла, стал медленно выгребать. Собака на берегу долго, сосредоточенно, вытянув морду, нюхала им вслед и вдруг тонко заскулила, переступая мокрыми лапами по песку. Густя сидела на корме, особенно смуглая в этот час, смотрела поверх головы Забавина, правила кормовым веслом.

Вода была необычайно прозрачна. Камни, песок, водоросли, похожие на конские хвосты, и листья морской капусты тихо проплывали под ними. Иногда Забавин переставал грести, засматривался на неподвижно висящих смугло-розовых медуз и удивлялся, что может в эту минуту интересоваться чем-то.

Карбас глухо стукнул о борт шхуны. Тотчас на палубу поднялся капитан в синей телогрейке и высоких сапогах. Он был без шапки, с длинными белесыми волосами и молодым, скуластым, опухшим от сна лицом.

— Товарищ Забавин? — сильно окая, спросил он, нагибаясь сверху. — Давайте конец!

Забавин подал ему чемодан и бросил веревку. Потом повернулся к Густе, покачиваясь, сделал три шага к корме. Густя поднялась и стояла, смотря сквозь застилавшие ей глаза слезы в лицо Забавину.

Они поцеловались долго и крепко, до боли, потом Забавин, задохнувшись, отвернулся и полез на борт шхуны. Капитан, смотревший на них с серьезным лицом, помог ему и быстро спустился в кубрик на носу.

Через минуту из кубрика, на ходу натягивая телогрейки, стали вылезать заспанные матросы, и шхуна ожила. Заиндевевшая палуба покрылась темными следами от сапог, застучал двигатель, зазвенела якорная цепь. Поднялся еле заметный ветерок, стал морщить гладкую воду. У Густи упала на лоб прядь волос, она не поправила ее, сидела неподвижно.

Капитан сам стал к штурвалу и, посмотрев на Забавина, дал малый ход. Шхуна тронулась, карбас с Густей стал отдаляться. На носу стоял лохматый матрос, закидывал веревку с грузом, сипло кричал:

— Восемь!

— Семь!

— Семь с половиной!

В глубине по-прежнему были видны зеленоватые камни, темные пятна водорослей и медуз.

Забавин стоял у борта и смотрел, как все дальше уходит берег и карбас. Густя, как осталась, так и не шевельнулась больше, сидела на корме. Черный нос карбаса, высоко поднятый, под ветром тихонько поворачивался к берегу. Забавин слышал странный пустой звон в голове, смотрел на остров, на карбас, глаза его были сухи и саднили.

Выйдя из опасного места в открытое море, шхуна развила ход, капитан передал штурвал матросу, вышел из рубки и стал рядом с Забавиным.

— Завтра к вечеру будем в Архангельске, — негромко сказал он.

Остров стал уже тонкой голубоватой полоской, можно было различить еще только белую башенку маяка. больше ничего. Началась морская, крупная зыбь, корпус шхуны дрожал от дизеля. Наконец и полоска скрылась. кругом была вода — покатые гладкие волны до самого горизонта. Солнце всходило, но вместе с ним с востока шли облака, и как-то не светлело.

— Ветерок будет, — зевая сказал капитан. — Эй, эй! Приборочку живо! — вдруг резко крикнул он. — А вы пожалуйте в кубрик, — пригласил он Забавина.

Спустившись в кубрик, они сели за узкий стол друг против друга и закурили.

— Это что, супруга ваша была? — помолчав, спросил капитан.

— Нет, — ответил слабо Забавин, и у него задрожали губы.

— Лягте, отдохните, — предложил капитан. — Вон эта койка у нас свободная.

Забавин послушно разделся и лег на койку, узкую и жесткую, со спасательным поясом в головах. Кубрик едва заметно поднимало и опускало. За бортом звенела вода. «Ну вот и счастье, — подумал Забавин и сейчас же увидел перед собою лицо Густи. — Вот и любовь! Как странно... Любовь!»

И он лежал и, скорбно сжав губы, все думал о Густе и об острове, все виделось ему ее лицо и глаза, слышался голос, и он не знал уже, во сне ли это, наяву ли... Звенела за бортом вода, и звон этот был похож на звук бегущего, веселого, никогда не умолкающего ручья.

ОЛЕНЬИ РОГА

1

Уже много дней живет она в доме отдыха на берегу моря. После долгой болезни приехала она сюда и первые три дня не выходила из дому, сидела на гулкой холодной веранде, грустно смотрела на прыгающих по соснам белок.

На четвертый день она просыпается рано утром, когда за окном стоит еще полутьма медленного весеннего рассвета. Она одевается, выходит на крыльцо и начинает розоветь от холода, от запаха мартовского снега, от вида поросших соснами холмов, от утренней чистоты и тишины. Она осторожно сходит на подтаявшую вчера днем и замерзшую за ночь дорожку, расставив руки, делает несколько шагов. Льдинки хрустят, звенят у нее под ногами, этот хруст и звон прозрачен, громок и что-то напоминает ей давно забытое, до сердцебиения сладкое и тайное. Не оглядываясь, она все дальше уходит от дома, поднимается на холм, видит внизу замерзшее море с темной полосой свободной ото льда воды у горизонта, видит, как постепенно все светлеет кругом и как, наконец, встает солнце, еще неяркобелое, еще бессильное. Возвращается она, пахнущая морозом, и когда проходит столовой, здоровается с отдыхающими — низко наклоняет лицо, прячет улыбку, прячет одурманенные глаза.

Как все выздоравливающие, она делается беспричинно счастлива, и счастье ее особенно остро и свежо, потому что ей шестнадцать лет, потому что глаза ее темны и влажны, потому что она одна и свободна, а воображе-

ние ее наивно и романтично. И еще потому, что необычайным, древнесказочным кажется ей все вокруг.

Каждое утро восторгом сотрясает ее глубокий добрый голос диктора: «Руне Рига! Пáрейзс лайкс...» Каждое утро, хрустя каблуками, ставя ноги во вчерашние свои следы, идет она к холмам, вытягиваясь, закидывая тонкое лицо, ломает вербу и ставит ее дома в вазу. И все дольше бродит она совершенно одна в сосновых борах, выходит к морю, замирая от страха, идет по льду и, наконец, останавливается, еле переводя дух, боясь пошевелиться, чувствуя, как чуть заметно покачивается, волнуется лед.

Потом она идет обратно и с задумчивым любопытством осматривает заколоченные на зиму пустые дома. Неизъяснимое впечатление производят они на нее! Ей делается отчего-то жутко-весело, как будто проникает она в фантастический мир сказок, которыми стыдясь, втайне от всех, зачитывается еще и сейчас. Она ни с кем не знакомится в доме отдыха, только аккуратно здоровается тонким голоском, едва не приседая по-школьному, пламенея, смущаясь, боясь взглянуть на того, с кем поздоровалась. Ее одиночество, свобода, ее прогулки нравятся ей все больше, она боится даже думать о времени, когда придется ей уезжать отсюда. И чем чаще она уединяется, чем взрослее, строже хочет казаться на людях, тем больше видна в ней девочка.

Однажды ее встречает молодой лыжник. Он замедляет бег, останавливается, жадно разглядывает ее, а она спешит пройти, упорно глядя себе под ноги. С этого дня он часто прибегает сюда на лыжах, взлетает на холмы, оглядывается, но больше уже не встречает ее.

Стоят в лесу дома, один красивее другого, светит солнце, лежат у заборов, у деревьев сине-зеленые тени, прыгают по соснам белки, зеленеет, желтеет на бетонных столбах оград плотный мох. А ночью тягуче вызванивают часы-куранты на кирхе, редко в два тона гудит электричка, потрескивает дом, шуршит в водосточной трубе лед и шумит вдали море. Остро, колко пахнет снегом, сосновой корой и липкими почками. И с каждым днем все продолжительнее, все стекляннее вечерняя заря, все глубже и холоднее по тону небо над ней, все синее на востоке звезды. А когда закат погаснет, подернется слабой желтизной, переходящей в зелень,

в лиловость — черными тогда кажутся на его фоне деревья, черны дома с прозрачными верандами, черна кирха и крест на ней.

Ночью девочка летает во сне над холмами, слышит тихую музыку, и у нее замирает сердце от страха и восторга. Проснувшись, чувствуя головокружительную легкость, она важно думает о том, что́ с ней происходит. А происходит с ней что-то необычное, совсем ей не понятное. Она почти не отвечает на письма, она влюблена в глухие боры, в одиночество, она любит заброшенность, безмолвие, любит солнечные поляны, заросли краснотала, сизо-серебристые канадские ели, каменистые мрачные гроты в холмах.

Вечерами в доме отдыха, в гостиной со старинной мебелью растапливают камин. Трещат березовые дрова, пляшут на стенах багровые пятна, слегка пахнет дымом, и слабо светятся большие холодные окна, выходящие на запад. А она уже ждет этой минуты, на цыпочках опускается в гостиную, забирается в кресло и огромными блестящими глазами смотрит в огонь. Иногда, оглянувшись на окна, прислушавшись к говору отдыхающих в далекой столовой, она подходит к ореховому кабинетному роялю и открывает крышку. Клавиши рояля смуглы от времени, туги и холодны. Нажав на скрипящую педаль, она робко ударяет по клавише. Ей хочется вспомнить музыку, слышанную во сне, она подбирает аккорды, пальцы ее холодеют, дрожат от волнения, ее знобит, ей кажется уже, что вот-вот она все вспомнит... Нет, все не то, не так, все непохоже! И осторожно закрыв крышку, подышав на лак и оставив на нем туманное пятно, она опять забирается с ногами в кресло, опять рассеянно смотрит в огонь, слушает треск, с наслаждением ощущает странно-печальный, какой-то домашний запах березового дыма. «Что со мной! — изумленно думает она. — Отчего так болит, ноет сердце? И отчего эта боль так сладка?»

С некоторых пор ее внимание привлекает один пустой дом. Стоит он на большом участке, под деревьями, и еле виден из-за ограды. Двери его забиты, окна закрыты деревянными жалюзи, крыша под красной черепицей высока и остра, крыльцо занесено снегом, оттаяли только верхние ступени. Под окном в мезонине прибиты к стене лаково-коричневые рога оленя, а окно почему-то

не загорожено и вместе с верандой бледно отсвечивает на закате. Снег вокруг дома нетронут, чист, участок особенно велик, особенно глух, ограда особенно высока и прочна. Только в одном месте выломаны планки, и в дыру лазят собаки. Оставляя глубокие отчетливые следы, все они бегут к старой кряжистой сосне, а от нее — веером куда-то в глубь участка.

Оленьи рога — так называет девочка дом и участок вокруг него. И почти никуда уже не ходит, а идет каждый раз к Оленьим рогам, с удовольствием видит свои вчерашние следы, убеждается, что никто больше не побывал здесь, садится на пень, подтыкает под коленки пальто и замирает. Она думает о заколоченном доме. Она воображает его пустые, гулкие, сумрачные комнаты, тишину по ночам, тонкие лунные иглы, пробивающиеся сквозь ставни. А поляна полна блеска, света, солнце напекает так, что тает смола на солнечных сторонах сосен, стволы верб потеют, стоят в темных талых лунках, и пушисты уже, туманно-сизы и гибки их набухшие ветки.

2

Случается это в день, когда особенно тепел и пряи весенний воздух, особенно кружится, туманится голова и томительно замирает сердце, — девочка вдруг ахает, закрывает рот руками, смотрит во все глаза на дом: наверху, в мезонине, отворяется окно и наружу выглядывает человечек! Он вылезает задом, достает ногами до оленьих рогов и крепко хватается за отросток. Тотчас же просовывается через окно длинная тонкая лестница. Человечек устанавливает ее и первым спускается вниз, на крыльцо. За ним следом спускается другой. «Да это же тролли! — догадывается девочка и замирает от сладкого ужаса. — Волшебные карлики! Они живут здесь, в этом заколдованном доме!» И пригнувшись, приоткрыв рот, она следит блестящими глазами за обитателями дома.

Одеты они в старинные одежды: чулки и короткие штаны, длинные лиловые камзолы. Оба бородаты и важны, оба в красных колпачках с кисточками, оба курят старинные голландские трубки. Усевшись рядом на верхней теплой ступеньке крыльца, они свешивают ноги, под-

нимают лица к солнцу и замирают. Только то у одного, то у другого вылетают изо рта, из зеленоватых бород клубочки дыма. Дым несет в сторону притаившейся девочки, она чувствует странный аромат, часто, глубоко дышит, а воздух дрожит, струится, шорохи слышатся со всех сторон — падают с елей и сосен комки снега. Тролли вдруг встают и деловито друг за другом идут по синему снегу к зарослям вербы. Там они долго нюхают что-то, выкапывают и рассматривают, поднося близко к глазам какие-то корешки. Потом вытирают руки и начинают играть, кидая друг в друга пушистыми шариками вербы, бегают неторопливо, с достоинством, сохраняя на лицах задумчивую важность и не выпуская изо рта трубок. Наигравшись, они бредут к крыльцу, поднимаются в окно, втягивают лестницу внутрь. Окно захлопывается, и дом опять кажется необитаемым.

Еле переводя дух, чувствуя приятную слабость, одурманенная солнцем и дымом из трубок троллей, тихая и строгая девочка идет домой, больше всего боясь, что по лицу ее узнают, что́ с ней произошло, начнут расспрашивать, допытываться... И весь день она сама не своя, смотрит на все вокруг совсем одичавшими глазами, мучась сомнениями, веря и не веря тому, что видела, — и еле может дождаться ночи.

А ночью она ложится, не раздеваясь, и думает о троллях. Она уже твердо знает: должно случиться с ней что-то волшебное, немыслимо прекрасное! Ей не спится, голова горит, пересыхают, трескаются губы. На кирхе стеклянно бьют куранты, дом отдыха тих, а ей кажется, что кто-то ходит по комнатам, заглядывает в окна, трогает клавиши рояля в гостиной. Изнемогая от волнения, страха, от радостного озноба, она встает, замирая и дико оглядываясь, выходит на крыльцо и опять, как и в первый раз, болезненно поражается тишине, острым синим звездам и запаху снега. Она бежит парком, запыхавшись выбегает на улицу и идет мимо спящих домов, мимо магазинов с закрытыми ставнями, под фонарями, постукивает каблуками по рубчатым каменным плитам тротуара и, наконец, сворачивает к морю, к лесу, к Оленьим рогам. Остаются позади фонари, сразу темнеет, глохнет и голубеет все вокруг, подступают к тропинке сосны и ели, становится виден смутный свет луны. У оград лежат глубокие тени, снег сияет и как будто дымится.

И вот уже она поднимается на цыпочки, смотрит сквозь оснеженные ветви в глухую тьму частых деревьев, дыхание ее прерывается, сердце замирает: сквозь жалюзи дома пробивается слабый свет! Будто во сне, идет она вдоль ограды, доходит до выломанных планок, нагибается, пролезает в дыру. Сначала она широко и редко шагает по залубенелой тропе, которую протоптали собаки, потом сворачивает напрямик к дому. Снег плотен, ноздреват, глухо хрустит под ногой, хруст его похож на звук разрезаемого арбуза. Она подходит к самому дому и останавливается. В доме горит огонь, из трубы вываливается дымок, по снегу бегут слабые шевелящиеся тени. Внутри играют на флейте, на незнакомых струнных инструментах. Звук флейты, пустой и нежный, размеренные, глуховатые аккорды струн выпевают, наигрывают старинную хрустальную мелодию, изящную и медлительную. Да ведь это же та самая музыка, которую слышала она во сне! И она тотчас же вспоминает свои волшебные сны, сразу узнает все, как она летала здесь, перелетая с холма на холм, отталкивалась, плыла в воздухе между редких сосен, в столбах лунного света, наигрывала, наигрывала нечеловечески-прекрасная музыка... Кто же здесь играет?

Напряженно, чтобы не скрипнуть, подходит она еще ближе к дому и видит сквозь косые прорези ставен трепещущий шафранный свет на потолке, уродливые двигающиеся тени. Крепко прижав руку к груди, она заглядывает в щель ставня.

Горит, рубиново пылает огромный камин, стоит посреди комнаты длинный грубый стол и такие же неуклюжие высокие стулья. На столе — бочонок с вином, оловянные кружки, круглые головки сыру. За столом сидят тролли. Их много, все они бородаты, все комично-серьезны и важны, пьют, едят, играют в карты и курят. С такими же важными лицами сидят на обрубках возле камина другие тролли, и самый древний из них, надвинув на глаза колпачок, отведя в сторону и согнув острым углом руки, играет на флейте. Остальные серьезно, печально перебирают струны инструментов, похожих на лютни. И лишь лица танцующих немного оживлены. Танцуют они по-старинному, движения их плавны и округлы, поклоны изящны и почтительны. А комната полна дыма, озарена светом тонких розовых свечей в мед-

ных подсвечниках. «Что все это значит? — думает девочка. — Что это за волшебный дом? И что если я войду к ним!»

Она отходит от окна, поднимается на крыльцо и трогает дверь. К ее удивлению, дверь подается, музыка становится отчетливее, громче, будто звучит, играет сам дом, будто танцуют его старые стены и мебель, оставленная хозяевами. Девочка проходит веранду с разноцветными стеклами, ощупью идет по коридору, робко открывает дверь в комнату, где веселятся тролли, — и сразу меркнет огонь в камине, обрывается музыка, вздрогнув, останавливаются танцующие. Дико и грозно смотрят на нее тролли. Она хочет сказать им что-то прекрасное, приветливое, шевелит губами, но не может сказать, не может произнести ни звука. Зато глаза ее сияют, зато лицо ее смущенно-любопытно и радостно, вся она тянется к троллям, и они сразу успокаиваются.

Но потаенность их жизни нарушена; они встают, убирают еду со стола, собирают карты, открывают люк, гасят свечи и огонь в камине и по очереди, серьезно и медленно, кланяясь каждый внезапной гостье, уходят под пол. Остается один только тролль, самый старый, самый важный и уродливый, и она вопросительно, умоляюще смотрит на него, ждет, что он ей скажет. Но ничего не говорит он, подходит к люку с последней свечой в руке и тоже начинает спускаться. В последний миг он оборачивается и пристально смотрит на нее. В его взгляде тайная доброта, обещание чего-то прекрасного, чего-то необыкновенного. Что-то говорит он ей глазами, своим тысячелетним мудрым лицом, но она не понимает его. Он же прикладывает палец к губам, значительно качает головой, дует на свечу и захлопывает крышку люка.

Она еле выходит в темноте и садится на крыльцо. «Почему он мне ничего не сказал? — горько думает она. — Ах да, они не могут с нами говорить! А ведь он что-то хотел сказать...» Внезапно она чувствует чье-то присутствие за спиной, оборачивается и видит старого тролля. Опять он смотрит на нее с задумчивой доброжелательностью, лицо его теперь, при лунном свете, еще более значительно, умно и веще, и ей хочется погладить его бороду и потрогать шапочку. Молча он кивает ей, прыгая со ступеньки на ступеньку, спускается с крыльца, оглядывается, манит ее. Она встает и послушно идет за

ним. Он подходит к окну, в щель ставня которого она увидела веселящихся троллей, и показывает на него рукой. Замирая от предчувствия, она заглядывает в щель и тихо вскрикивает. Вместо комнаты она видит солнечный день, холмы, поросшие соснами и знакомого лыжника, беззвучно скользящего с холма на холм, видит его разгоряченное решительное лицо, его сильную худую фигуру, видит, как далеко он выбрасывает лыжи и как резко толкается палками. Наглядевшись, она поворачивается к троллю, но того уже нет, все пусто кругом, ярко светит луна, изумрудно сияют звезды и падают, падают с сосен и елей шапки снега, повисая в лунном свете легчайшими столбами снежной пудры.

3

На другой день она просыпается поздно, когда солнце уже дымно бьет в окно, лежит, расчерченное переплетом окна, палевым квадратом на полу. И опять несказанно радует, поражает ее новый день, голос диктора: «Руне Рига!», свежий морозный воздух из форточки, запах кофе и тепло дома. Все утро она поет, танцует, когда никто не видит, подражая троллям, и падает лицом в подушку в приступах беспричинного смеха. А после полудня, не вытерпев, она снова приходит к Оленьим рогам, боясь даже посмотреть, повернуть лицо в сторону дома. Ей кажется, что тролли рассердятся, если опять увидят ее здесь. Неуверенно смахивает она красной варежкой пушистую утреннюю порошу, садится на пень и, вздохнув несколько раз открытым ртом, набравшись решимости, поднимает глаза на дом. Дом необитаем, жалюзи его глухи, тускло блестят оленьи рога на стене, окно в мезонине закрыто. Троллей нет! Она ищет свои ночные следы на снегу, но следов не видно, и у нее обрывается, падает сердце от горького разочарования. Значит она не приходила сюда?

Она вскакивает, бежит к ограде, уже не таясь, пролезает в дыру, нагибается, пристально рассматривает, даже щупает ослепительный ровный снег. Нет, ничего нет — одна заледенелая собачья тропка к сосне! Она подходит к дому, обходит его, трогает дверь, узнает окно, на которое показывал ей тролль, ищет щель, но ставни плотны, а дверь наглухо заколочена. И нигде никаких

следов, и значит не было троллей, не было музыки, свечей, пылающего камина... И впервые ей становится невыносимо больно и одиноко, и она плачет, стирая варежками слезы со щек.

Дует с моря тугой ветер, гудит в соснах, качает их верхушки, а на полянах, отгороженных от моря лесом, — тихо, солнечно, морозно. Среди сосен показывается лыжник, стремительно слетает с холма, поднимая снежную сверкающую пыль, взбирается на другой и скатывается уже с него, чтобы взобраться на третий и так бежать вдоль моря, вздымаясь и пропадая. Она сразу узнает его, прячется за угол дома и сквозь слезы следит за ним. Она уже ничему не верит, и когда лыжник исчезает в лесу, всхлипывая идет посмотреть, остались ли после него следы. Поднявшись на холм, набрав в ботинки снегу, она видит глубокий пушистый след, круглые ямки и чирканье палок, изумленно оглядывается и узнает все, что показал ей тролль: прекрасный мартовский день, голубые ели, темно-зеленые сосны, совсем освободившееся ото льда море, — ей делается радостно, она опять верит в чудеса, в сны и сказки, она улыбается, поднимает порозовевшее лицо, вытягивает горло, прикрывает мокрые еще ресницы, кричит: «Эге-ге-аой!» — и с восторгом слушает звонкое крепкое эхо.

И сразу, услышав этот ликующий зов, тормозит палками и останавливается лыжник, мгновенно поворачивает назад разгоряченное бегом лицо, ждет и, не дождавшись ничего, резко, разбрасывая снег, перекидывает лыжи и мчится назад по своей лыжне. А она с колотящимся сердцем стоит, спрятавшись за сосну, прислушивается, ждет ответа, — счастливая, в распахнутом пальто, в красной, почти такой же как у троллей шапочке, с обнаженной тонкой шейкой, с большими темными глазами на пылающем лице.

Какого ответа спрашивает она у сосен, у моря, у весны? Почему снится ей музыка и почему летает она во сне? Почему так томительно и важно было ей то, что скажет тролль? Ах, как она прекрасна и стыдлива в своем счастье, какое непостижимое у нее лицо, с какой улыбкой встречает она каждый новый день и как уверенно и страстно ждет чего-то! Чего же она ждет?

НА ПОЛУСТАНКЕ

Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенча тое здание небольшой станции почернело от дожде Второй день дул резкий северный ветер, свистел в черда ном окне, гудел в станционном колоколе, сильно ра качивал голые сучья берез.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расст вив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидыва у ней хвост на сторону, шевелил гривой, сеном на телег дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и н открывала глаз: должно быть, думала о чем-то тяжело или дремала.

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой п ренъ в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоски лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папир су, сплевывал, поглаживал подбородок красной коро копалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазам и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице е бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни жела ния; оно казалось холодным, равнодушным. И только тоскующих темных глазах ее притаилось что-то боле нно-невысказанное. Она терпеливо переступала коро кими ногами в грязных ботиках, старалась стать спин к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеват ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листь собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то свое потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сыро

земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко...

— Вот оно, жизнь-то как повернулась, а? — заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами. — Теперь мое дело — порядок. Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чуешь?

— А я как же? — тихо спросила девушка.

— Ты-то? — парень покосился на нее, кашлянул. — Говорено было. Дай огляжусь — приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. Заграницу ездить буду, житуха начнется — дай бог! Н-да... А к тебе — приеду... Я потом это... напишу.

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда; унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий, тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:

— Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

— Девятый. А что?

— Ну-ну... — пробормотал начальник и снова зевнул. — Девятый, говоришь? Так... Девятый. А погода — сволочь. Ох-хо-хо...

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

— А ну, хватит! — проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. — Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

— Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...

— А ну, брось! — повторил парень. — Сказано — приеду...

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий...

— Вон девятый! — быстро сказала девушка. — Подождем!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая полустанок с близорукой улыбкой, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:

— Девушка, это какая станция?

— Лунданка, — сипло сказал проводник.

— Базар есть? — спросил человек в пижаме, попрежнему глядя на девушку.

— Нету базара, — опять отозвался проводник. — Две минуты стоим.

— Как же так? — изумился пассажир, все еще глядя на девушку.

— Закройте окно! — попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме завертелся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

— Ну, прощай, что ли, — тяжело проговорил он и сунул руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась лицом парню в плечо.

— Скучно мне будет, — шептала она. — Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... Ведь приедешь?

— Сказано уже, — неохотно и испуганно говорил парень. — Оботри слезы-то... Ну!

— Да я ничего, — шептала девушка, задыхаясь, быстро, по-беличьи отирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. — Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то...

— Я помню, мне что! — хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

— А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это!

— Сказано... — бубнил парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

— Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... — сказал проводник и первым полез торопливо на площадку. Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

— Вася! — закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров, те сразу отвернулись. — Вася! По... по-целуй же меня...

— Мне что... — пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

— Слышь... Не приеду я больше! Слышь...

Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило,

притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку
нестерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще дет
ские губы ее все белели...

— Берегись! — раздался вдруг дикий крик над ее го
ловой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно по
светлело; поскрипывание шпал и стук колес прекрати
лись, и, подняв голову, она увидела, что последний ваго
с круглым красным щитком на буфере неслышно, ка
по воздуху, уплывает все дальше и дальше. Тогда он
подняла голову, стянула на лицо платок и завыла по
бабьи, качаясь, будто пьяная:

— Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало ти
хо... Шаркая по земле ногами, подошел начальник стан
ции, остановился за спиной у девушки, зевнул.

— Уехал? — спросил он. — Н-да... Нынче все едут.

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел н
грязные ботики, спросил негромко и равнодушно:

— Вы не из «Красного маяка» будете? А? Н-да... Во
оно что... А погода-то — сволочь. Факт!

И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго еще стояла на пустой платформ
смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни тем
ного мокрого леса, ни тускло блестевших рельсов, ни бу
рой никлой травы... Видела она рябое и грубое лиц
парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла
лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, переверну
ла сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронул
вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом
сама завернула, с трудом переставляя ноги, и пошл
мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крес
накрест шпал к проселочной дороге.

Девушка сидела не шевелясь, глядя поверх дуг
потом в последний раз оглянулась на полустанок и ле
ла в телеге ничком.

— —

ПОМОРКА

1

В сентябре на Белом море темнеет рано, сумерки коротки, а ночи аспидно-черны и холодны. Вырвется иногда перед закатом солнце из облаков, бросит последний угасающий луч на море, на холмистый берег, желто отразится в окошках высоких изб и тут же побагровеет, сплющится, уйдет в воду.

Тускло светится темно-красная полоска зари, слабо и зыбко сияет высокое холодное небо, а земля, избы в деревне, косогоры с поскотинами, словно щетиной поросшие по краям мелким низким лесом, — все погружается в темноту, только долго еще светятся в ответ заре свежеошкуренные бревна возле правления, и маслянисто блестит, хрустит под ногами щепа.

Вспыхнут на берегу моря, возле самой воды, несколько маленьких костров: сидят на корячках мальчишки, пекут себе картошку. Потом загорятся огни в окнах... Но скоро погаснет все — и костры и окна, — и деревня погрузится в долгий осенний сон. А в полночь вдруг станет светло, прянут в зенит длинные дрожащие столбы, молча и страшно задвигаются, меняя бледные краски, отражаясь в море. Потом погаснут так же внезапно, как и возникли, и опять темнота сомкнется над землей и будет держаться упорно, долго, до неохотного рассвета следующего слепого дня.

Днем в деревне пусто. Ребята в школе, рыбаков нет — кто сидит на тоне, кто далеко в море на лове трески, кто в поле... Оживляется деревня только по празд-

никам, да если какая-нибудь бригада привезет богатый улов сельди или семги. В этот вечер потрескивает, сипит радио на столбе возле клуба, горят по улицам редкие фонари, однообразно вякает аккордеон, перебираемый непослушною рукой, слышен смех девок, запоет кто-нибудь песню... Но пройдет день-два, и опять опустеет деревня. И так будет до самой глубокой осени, когда начнут возвращаться рыбаки с тоней, придут мотоботы с глубьевого лова, когда кончатся, наконец, все полевые работы.

Тогда избы вновь наполняются запахами соленой трески и пикши, водки и браги по праздникам, махорочным дымом, крепким мужицким говором, стуком сапогов. Станет весело, жарко будут топиться печи по утрам, вкусно запахнет ржаным хлебом из пекарни, дым будет высоко подниматься в бледное небо над седыми от изморози крышами. Хватят по ночам крепкие заморозки, начнет замерзать и звонко ломаться море у берегов, а из скотных дворов хорошо, уютно будет тянуть теплым навозом.

В клубе начнут чуть не ежедневно крутить кино, допоздна будет бубнить на задах дизель электростанции, без конца станет заседать правление, и разговоров про рыбу, про план, про погоду, про заработки и трудодни хватит надолго, чуть ли не до февраля, когда опять опустеет деревня: кто уйдет на ледоколе на зверобойный промысел, кто — в Унскую губу на зимний лов наваги.

2

Пусто и в избе, где я живу. Высокая, огромная, в две связи, со множеством комнат и чуланов, строенная на большую семью, наверное, еще в прошлом веке, — она тиха и гулка.

По ночам в ней звонко трескают половицы. Днем — она поражает чистотой. До блеска вымытые окна загораживают цветы тоже с блестящими, протертыми листьями. Белые полы пахнут мылом и березовым веником. По полам от дверей раскинуты старые сети. От сетей в избе стоит слабый пряный запах моря. На почетных грамотах, фотографиях, настенных зеркалах — всюду висят чистые, голубые от синьки, расшитые полотенца. Столы и сундуки покрыты суровыми хрустящими

скатертями с мережкой. И в тишине живет, всю эту чистоту и старинный порядок блюдет один человек — девяностолетняя старуха Марфа.

Как она стара! Странно и жутко порой глядеть мне на нее — такое древнее и темное у нее лицо, такие тусклые, выцветшие глаза, так неподвижно сидит она в редкие минуты отдыха. Уж никогда, никогда не выпрямить этот согнутый стан и ставшую круглой уже спину, не истончить громадные набрякшие ноги, не согреть холодные руки. Неужели была она когда-то горяча и хороша, неужели в этом теле билось когда-то иное сердце? Нет, нет, нельзя поверить, нельзя вообразить ее иной, чем сейчас...

А все-таки была она молодой и, по словам стариков, помнящих ее, еще какой красавицей была! С каким самозабвением плясала она на праздниках, как пылали тогда ее щеки, как горели и сияли глаза, каким туго-налитым, стройным и сильным было ее тело! Как любила она своего Ванюшу — кряжистого, с выпуклой грудью, с мелкими белыми зубами, жесткими черными усами и жестким же черносмоляным чубом парня, — как обмирала, пылала и дрожала, когда видела его, идущего по улице в розовой рубахе, в вонючих, высоких, блестящих сапогах, с какой отчаянностью восторженного страха кидалась опрометью на зады, видя, что он сворачивает к ее дому.

У, как была она красива тогда и как любила петь, какие дивные старинные песни знала, какой дикий томительно-звенящий голос был у нее! И как талантлива, яростно-неуемна была она на любую, даже самую тяжелую грязную работу!

Так что же иссушило, состарило ее, сделало холодными руки и утишило сердце? Уж не белые ли призрачные, завораживающие ночи, не страшное ли ночное солнце выпило ее кровь? Или наоборот — длинные тоскливые зимние вечера, которые проводила она за прялкой при багровом дымном свете лучины? О чем думала она, о чем мечтала в эти вечера, когда свистел и гудел ветер, гнал колючий сухой снег, задувал в окна, выл в печной трубе, когда гулко и грозно ломало прибрежный лед и жутко было выйти во двор, в черноту северной ночи?

И как вопила она, как билась и причитала, провожая

и обряжая в смертную дорогу отца и мать, братьев и сестер, а потом и мужа, и детей, наглядываясь каждый раз на них и не в силах наглядеться. Как бежала она к морю, как кидалась в волны, прося северное морюшко взять ее к себе! Как хотелось ей в те страшные минуты тоже навеки остаться на песчаном кладбище, среди редких низкорослых сосен!

Случай забросил меня сюда ненадолго, скоро я уеду и никогда, быть может, не увижу больше ни моря, ни этих высоких черных осенью изб, ни этой древней поморки... Отчего же так сладко и горько на сердце, почему так таинственно близка и важна мне жизнь этой Марфы, почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю ее? А она не любит рассказывать, отвечает всегда кратко, общими словами:

— Как жила-то? Да всяко...

— А все же?

— Дак я и говорю — всяко...

Говорит она как-то бегло, не пристально, невнятно, рассеянно оглядываясь или думая о чем-то своем, далеком, сокрытом от меня. Но вдруг вспоминает о внуках-моряках, оживляется, приносит открытки, которые месяцами шли в эту глухую деревню и которые кажутся почти сказочными в этой суровой северной стороне. Она разворачивает чистый платок, и они рассыпаются по столу — лаковые, нежно-яркие, со штемпелями Бомбея, Рангуна, Сан-Франциско, Коломбо...

Я читаю их вслух, Марфа слушает, опустив темное лицо, на котором тлеет слабая улыбка. Долго потом перебирает она их, щупает корявыми пальцами гладкий картон, всматривается в картинки, наконец, заворачивает опять в платок, уносит, прячет в сундук и снова ходит по избе, все что-нибудь делает...

Встает она затемно. Простоволосая, наскоро молится, тяжело и трудно со сна кланяясь в темный угол, где между почетных грамот в рамках под стеклом висит черная древняя раскольничья икона в тусклом серебряном окладе. Потом повязывает платок, выходит в сени, начинает ходить по избе, по всем ее комнатам, чуланам и клетям, лазит на чердак, в поветь, выходит на огород.

Чего только не переделает она за день! Доит и гонит на улицу корову, шумит сепаратором, кормит кур, лезет на поветь за яйцами, косит и рубит на крыльце кроваво-

ржавым косарем траву и картофельную ботву поросенку; копает картошку на огороде, сушит, когда светит солнце, и ссыпает в подпол; топит печь, варит обед, кипятит самовар, идет к морю с корзиной, собирает сиреневые пучки водорослей, которые покупает у нее агаровый завод; привозят ей сено, и она, надрываясь, еле переставляя ноги, таскает его наверх, в поветь по «съезду», а по субботам топит баню, натаскивая туда до двадцати ведер воды, стирает, штопает, гладит, метет и моет полы, сени, крыльцо и даже деревянные мостки возле избы; чуть не каждый день ходит она на скотный двор помогать телятницам и зарабатывать себе трудодни; на ближней тоне, в десяти верстах от деревни, живет ее младший сын, хмурый вдовец, уже седой и часто прихварывающий, и Марфа раз в неделю, переделавши с утра множество работы, идет туда, несет папирос, масла, хлеба и сахару, приходит на тоню часа через три и, не отдохнув, начинает и там мыть и стирать, штопать и даже чинить порванные сети — на тоне этой живут одни мужики, и Марфа не может не справить своей бабской, как она говорит, работы.

Последнее время она стала плохо спать. Какая-то торжественная перемена происходит у нее глубоко в душе. И эту перемену она воспринимает, как знак, как таинственное предзнаменование скорой смерти. Все чаще снятся ей муж, отец, мать, умершие дети... И я вижу, как лазит она в сундук, разглядывает свое смертное: чистую рубаху, уже пожелтевшую и пропахшую деревом сундука, просторный белый саван, платье, расшитое покрывало, ленты холстины, темные чулки и тапки. Она рассматривает, перекладывает, расправляет все это — чуждое и страшное человеку, — с такой же споростью и пристальностью, как и всякую другую необходимую в хозяйстве вещь.

— Не тогда плясать, когда гроб станут тесать, — с удовольствием говорит она мне. Умирать ей не страшно. Она непоколебимо убеждена в справедливости жизни, в справедливости и необходимости прихода смерти.

— Могилка-то давно меня ждет, — ласково, как о чем-то очень приятном, говорит она, глядя поверх меня тусклыми глазами. — Там и батюшка и матушка мои повалены лежат... И сыны там, все там. Небось по мне соскучились. А я, слава тебе, царица небесная, пожила.

Ночью, особенно когда на море разыгрывается шторм, ревет внизу совсем близко прибой и рев этот отдается по всей избе, так что вздрагивают потолки и стены — Марфа молится, стоя на коленях в углу. Молится она не за себя — за тех, кто на рыбных промыслах в Баренце.

— Пошли, господи, поветерь, — шепчет она и кланяется, стукаясь лбом о пол. — Не погуби, господи, сохрани их, Николушка!

Странно мне слушать это — будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон, будто все мои предки, мужики, пахари, всю жизнь, с детства и до смерти пахавшие, косившие, положенные, забытые по погостам, родившие когда-то и хлеб, и другую, новую жизнь, — будто это они молятся, не за себя, за мир, за Русь — неведомому богу старозаветному, доброму Николушке-чудотворцу.

— Пошли им погодушку поратую, небушко чистое, водицу светлую, — шелестит во тьме девяностолетний голос.

Потом она ложится и лежит неподвижно, глядя в темноту. Тошно ей, тяжко, давят ее годы — детство, молодость, такие далекие, такие неясно-прекрасные — как белая ночь, вся в хрустальной радости, вся в солнце незакатном, и старость — как один темный осенний вечер. Лежит, вспоминает всю свою жизнь, и представляется ей, будто она молодая девка поет песню, слышит со стороны свой чистый упругий, печальный голос:

Ах ты, моя матушка,
Твой сынок да разнесчастный
Далеко на море побежа-ал.

Но эти радостные и грустные мысли скоро уходят, уступая место другим, привычным мыслям и заботам. И она уже думает, как бы дожить до Михайлова дня, когда все начнут собираться домой, что корова уже стара, плохо и мало доится, и не забыть сказать, чтобы купили новую, что надо гонять овец за коргу — там много морской капусты давеча накидало, что надо жать ячмень на огороде да вешать сушить...

Засыпает она не скоро и не сразу, вздрагивая несколько раз, во сне редко и слабо дышит, просыпается, перекладывает млеющие руки, и опять спит и не спит,

все слышит и понимает, но и сны видит — смутные, давно знакомые...

Все чаще бушует море, и все чаще выходит Марфа к вечеру на берег, стоит неподвижно возле наискось заделанных палок плетня, твердо чернея на бледно-желтом фоне зари. Смотрит на грязно-взлохмаченное море, на без конца бегущие и ревущие на отмели взводни с белыми гривами.

Резко и горько пахнет холодной картофельной ботвой, водорослями, резко, несмотря на гул моря, слышны женские голоса, шаги по деревянным мосткам, какой-то особенный в этой деревне, басовитый и короткий крик коз.

По улице, по деревянным мосткам, крепко стуча сапогами, идет сосед-рыбак — крутоплечий, крепкий, счастливый своей крепостью. Подходит поздороваться, зовет вечером в кино, дымит махоркой и густо кашляет, наливаясь кровью. Потом замечает Марфу, делает серьезное лицо и грубо-восхищенно говорит:

— Ах, ты! Опять выползла... Своих ждет. Хорошая старуха-то, святая, одно слово — поморка! Хошь, выпьем за нее?

Он сильно затягивается, прищуривая правый глаз, обжигая губы, бросает окурок, втаптывает его каблуком в песок, жидко сплевывает и идет берегом на рыбоприемный пункт, потирая красную шею, ширкая друг о друга отвороченными голенищами высоких рыбацких сапог. Проходя мимо Марфы, он сдергивает кепку и почтительно кланяется ей.

Ветер холодает, небо темнеет, заря кровянеет, воздух делается прозрачней, стеклянней, смугло румянеют избы наверху, на востоке загораются редкие бледные звезды, скоро совсем смеркнется, а Марфа все будет стоять, положив старчески-сизые руки на плетень, и смотреть на море, пока не погаснет последний мглистый отблеск зари.

АРКТУР, ГОНЧИЙ ПЕС

1

История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить. Он никому не навязывался и никому не подчинялся, — он был свободен.

Говорили, что его бросили проезжавшие весной цыгане.

Странные люди — цыгане. Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие — на пароходах или плотах, третьи — плетутся по дорогам в телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, щупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются, — смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уже никогда не увидеть их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уж раз побывали.

Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.

Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «клинк-кланк!»

Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда

они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинк-кланк!» — люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.

Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.

Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.

О его прошлом можно было только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело втайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей — ее властелинов и богов.

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплому животу, еще напряженному от родовых схваток. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить, — такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затихли, — раздавалось только сопение, чмокание и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него, слепого, настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.

Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, не нужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его тело и душу.

У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, неловким и недоверчивым, — мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды, наравне с такими же бездомными и голодными собаками.

Он не мог быстро бегать. Ноги, его крепкие ноги в сущности не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жесткому. Когда он дрался с другими собаками, — а дрался он множество раз на своем веку, — он не видел своих врагов, он кусал и бросался на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую.

Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, ведь мать, даже и собака, всегда знает своих детей по именам. Для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, но в судьбу его вмешался человек — и все переменилось.

2

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да унылые командировочные в серых плащах, приехавшие из области на лесозавод.

Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие лугови-

ны и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер, нагоняя тучи, — сосны грозно гудели и роняли шишки, которые крепко стукались о землю.

Я снял комнату на окраине, наверху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей. Но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшим фальцетом он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Окно моей комнаты выходило в одиночный сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину, — доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородинных кустов. Еще в сад забредали коты и, затаясь возле лопухов, следили за воробьями.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами с прораставшей между досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.

Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук — это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.

Ночью в нашем саду пахло смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: «ду-ду-ду...»

Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства,

доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой.

Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами.

— Ну, теперь ступай! — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы. Пес уперся и задрожал.

— Гм... — произнес доктор и сел в качалку. Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза.

А доктор растерянно рассматривал его, ерзал в качалке и соображал, придумывая ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака! Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда.

— Арктур... — пробормотал доктор.

Пес шевельнул ушами и открыл глаза.

— Арктур! — снова сказал доктор с забившимся сердцем.

Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом.

— Арктур! Иди сюда, Арктур! — уже властно и радостно позвал доктор.

Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Так для слепого пса исчезло навсегда никогда не произнесенное имя, которым назвала его мать, и появилось новое имя, данное ему человеком.

Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, ползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, —

они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стоиков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушен, часто от него раздражающе пахло одеколоном. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым воркующим смехом, что это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда. Скорее всего такое же ощущение счастья было у него, когда он слепым щенком сосал свою мать.

3

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, — свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и

не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком — многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видал его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только на широкой дороге, по лугу, да по террасе нашего дома... Но если животные и люди были еще понятны ему, и он, наверное, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и странны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами.

Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали, как музыка, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему, — одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать, он сразу же ощущал свалки и помойки, дома, каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так ясно, как будто видел все это.

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. В его трещинах и порах задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность.

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза,

поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за много верст вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины, — кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и неслышная нам, но знакомая и понятная ему.

И еще была у него одна особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему.

Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие протяжные крики, хлопание кнутов: с лугов гнали стадо.

Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» — подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся стаде необычайное волнение.

Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам — собакам, стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и взревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровавые белки.

— Гришка! — закричал кто-то сзади. — Бежи скорее вперед, коровы ста-али!

Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрапел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт

собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но его не было.

Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли, и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старый пастух заметил его.

— Ах, собака! — злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом. Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернув на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и — упал.

Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул и его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо, не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше.

Я подошел к Арктуру. Он был грязен и тяжело дышал, вывалив язык, ребра его ходили под кожей. На боках были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним, он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

4

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл.

Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мной увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне

надоело его непонятное упрямство, и я перестал обращать на него внимание.

Лес ошеломил Арктура. Там, в городе, все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему незнакомые предметы: высокая, жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорилось прогнать из леса. И потом — запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган.

— Ах, Арктур! — тихонько говорил я ему. — Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов: белых, желтых, голубых и красных и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздья рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, то, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади и собаки, и кошки — все разных цветов, что заборы бывают коричневыми и зелеными, и просто серыми, и как сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке-охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес!

Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше уходил в лес. Арктур мало-помалу оправлялся и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь он, увлеченный своим важным делом, уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывал в мою сторону мертвыми

белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним. Потом опять принимался кружить по лесу.

Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Арктура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в куст, пропал там, завозился зафукал... «Кого-то причуял!» — подумал я и остановился.

— Гам! — звонко и неуверенно раздалось в кустах. — Гам, гам!

— Арктур! — в беспокойстве позвал я. Но в этот момент что-то случилось. Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликая его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в лощину и лощиной что есть силы бросился наперерез, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенные собаки, но, тем не менее, гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос.

— Арктур! — крикнул я. Он сбился с хода, я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле: видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так был он возбужден, что и не чувствовал этих ушибов.

5

С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась,

голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины.

Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверное, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, что так необходимо каждой гончей собаке.

Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же был медлительным и неуверенным. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Лес был ему молчаливым врагом, лес стегал его по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед.

Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Какое чувство пространства и топографии, какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос, где-нибудь за много верст в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому!

Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лазам ее хозяин-охотник и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку; он тоже лазит по кустам, бегает, хрипло порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на нее дикими, хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Но, ты! Мил-лая!» — и треплет за уши.

Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном доктора и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и если доктор, проснувшись в хорошем настроении, поглядывал в окно и звал: «Арктур!» — что тогда выделывал этот пес! Тор-

жественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову с подрагивающим горлом и покачивался, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам.

Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он, нервно вздрагивая, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая все большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши, наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.

6

Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной.

Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть и, когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, — я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай, доносившийся с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек; иногда он пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного ближе и громче.

Я сидел на пне, посматривал кругом на желтые, засквозившиеся уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева и березы, и тесные зеленые

елки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.

Так вот когда пришлось мне услышать это! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, скололся и замолчал. Долгие минуты длилось это молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий?

Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серая, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, вслушиваясь в приближающийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула в овраг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и нелепо прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол.

Как в странном театре промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем Арктура.

7

Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода.

К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам, они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости, паратости и других охотничьих статьях; они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, а на смену им приходили другие.

Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская бородка сквозила, на голове был мятый треух, на ногах сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку, поскреб голову и посмотрел на небо.

— Погоды-то ныне, погоды... — неопределенно начал он и, крякнув, умолк. Я догадался и спросил:

— Не за собачкой ли пришел?

— Да и как же! — оживился он и надел шапку. — Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне — вот как нужна собачка! Скоро охоты и все такое... У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что? Слепой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выганивает! Царская собака, вот те крест святой.

Я посоветовал ему поговорить с хозяином. Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал. Потом нахмурился.

— Что ж, отказали вам? — спросил я, заранее зная ответ.

— И, не говори! — огорченно воскликнул он. — Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник, — во, вишь, глаз потерял, — и сыновья у меня тоже и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для де-ела! Нет, не дает... Пятьсот рублей сулил, — цена-то какова, а? — и не подходи, не дает! Чуть не заревел, а? Это мне реветь надо! Охоты подходят, собаки нет!

Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.

— Она где же помещается у вас? — как бы невзначай поинтересовался он и заморгал глазом.

— Уж не украсть ли собачку хотите? — спросил я.

Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.

— Прости господи! — сказал он и засмеялся. — Ведь так с вами и до греха дойдешь. А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот!

Он тронулся было к выходу, но на дороге остановился и радостно посмотрел на меня.

— А голос-то, го-олос! Понимаешь ты голос? Чистый ключ, я тебе говорю!

Потом вернулся. Подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома.

— Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник... Продаст он мне ее, святой крест, продаст! До Покрова-то далеко, чего-нибудь удумаем. А ты говоришь... Эх!

Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор.

— Что он тут вам говорил? — волновался он. — Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке?

Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услышав голос своего хозяина, выполз из-под террасы и прихрамывая подошел к нам.

— Арктур! — сказал доктор. — Ты мне никогда не изменишь?

Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.

8

Как было бы хорошо, если бы все прекрасные истории имели счастливый конец! И разве не заслуживает герой, хотя бы только гончий пес, долгой радостной жизни?

Никто на земле не рождается бесцельно, и гончий пес рождается, чтобы гнать зверя-врага, гнать за то, что тот не пришел к человеку и не стал ему другом, как пришла когда-то собака, а остался на все времена диким. Слепой пес — не слепой человек, ему никто не поможет, он одинок в темноте, он бессилен и обречен самой природой, всегда жестокой к слабым, и если он все-таки страстно служит своему главному предназначению, если он живет, что может быть лучше, выше этого! Но такой жизнью Арктуру мало пришлось пожить...

Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день.

Когда друг, который жил с тобой, которого видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания.

И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах чистой здоровой собаки... Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст.

Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока, наконец, не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видел, и вызвался искать его вместе с нами.

Весть о пропавшем Арктуре мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят, и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слышал в лесу его лай...

Ребята те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день наведывались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес.

Я не искал Арктура. Мне как-то не верилось, чтобы он

мог заблудиться, для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб... Но как? где? — этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть!

А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Бесполезный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей, запахи его никому не были нужны.

В день моего отъезда мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что смолоду не стал охотником.

9

Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор распевал фальцетом свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась, куда хватало глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным «клинк-кланк», гнусаво сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело!

На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла, и сколько было других запахов — сосновой коры, гниющего дерева, сырого листа, — всех их перебил сильный и резкий запах земли.

Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальдшнепы летели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой

по знакомой наезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо, и голые березы, и звезды.

Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие вразброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой... Да, это были останки Арктура.

Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой еще, но сухой ели был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока, наконец, не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил уже, и не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед, все вперед следа.

В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой обломанной елью.

У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут и Дианы, и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы... Но, наверное, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнущей голубой звезды!

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Павлович Казаков.

МАНЬКА

Редактор *Л. И. Одинцова.* Художник *Л. Э. Гамбургер.*

Тех. редактор *Л. А. Большакова.* Корректор *М. М. Михайлова.*

Сдано в набор 26/VII 1958 г. Подписано в печать 11/XII 1958 г. Форм. бум. 84х108[1]/32.
Бум. л. 2,06. Печ. л. 6,75. Уч.-изд. л. 6,514. Тираж 15000. Сл 05751. К.4.
Архангельское книжное издательство.
Изд. № 3799. Заказ № 1636. Цена 1 р. 95 к.

г. Архангельск, ~~тип. имени~~ Склепина, Набережная им. Сталина, 86.